

Правительство
Поэтов

HYLAEA.RU

*александр бренер
варвара паника*

РИМСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ



МОСКВА *июля* 2011

Обложка Александра Бренера и Барбары Шуриц

© Правительство Поэтов

ISBN 978-5-87987-061-9

Dum colosseum stabit, Roma stabit;
dum Roma stabit, mundus stabit.

Римская поговорка

Anyone can create the future,
but only a wise man can create the past.

Владимир Набоков. "Bend Sinister"

1-е откровение: жижек

Мы истосковались по мудрости. Поэтому мы пошли на лекцию философа Джорджио Агамбена. Это было несколько лет назад в Любляне, в Словении.

Джорджио Агамбен выступал в самой главной аудитории в Любляне. Это был большой амфитеатр. Агамбена представил словенский философ Жижек. Он сказал, что Агамбен — великий философ и его друг. На экране был показан отрывок из фильма Пазолини «Евангелие от Матфея». В этом фильме молодой Агамбен исполнял роль одного из апостолов. Потом Агамбен прочёл доклад, который назывался «Похвала профанации». Он прочитал его на английском языке.

Когда он читал этот доклад, мы подумали: ну вот, наконец мы повстречались с настоящей мудростью. В докладе было сказано, что весь мир превратился в музей. Музей — это такое место, где вещи нельзя использовать. И это плохо. Поэтому нужно снова учиться использо-

вать вещи. Это и есть профанация. Вещи нужно использовать не по их прямому назначению, а свободно, играючи. В качестве примера Агамбен привёл кашки. Необходимо играть своими кашками и всеми другими вещами, чтобы вырваться из тисков музея. Нужно играть кашками, как ими играют дети. Нужно снова стать детьми. Это, сказал философ, и есть задача нового поколения.

Когда мы слушали лекцию, нам показалось, что наконец-то мы встретились с самими собой — настоящими. В лекции было выражено очень точно то, что мы и сами давно чувствовали и к чему стремились. Нам пришлось долго странствовать, чтобы добраться до этой точки. Странствия и шатания заводили нас то в искусство, то в анархизм, а то и в лапы лис и котов, которые попросту хотели нас облапошить. И вот теперь Агамбен сказал, что надо просто играть всеми вещами и отказываться от всяких идентичностей и целей. Нужно быть как Буратино, то есть претерпевать вещи.

После лекции Жижек объявил, что можно задавать вопросы. Жижек вообще был непри-

тен и вульгарен. Из этой прекрасной лекции он сделал спектакль и музей. Мы встали и так ему и сказали. Мы сказали: «Дорогой Агамбен, вы закончили ваш доклад словами о том, что новое поколение должно заниматься профанациями. Но где оно, это новое поколение?»

Агамбен молчал и улыбался, а Жижек подпрыгнул и заявил, что мы выступаем от имени рабочих. Это была глупость. Мы не выступали ни от чьего имени. Просто хотели узнать, что ответит Агамбен.

Но когда Жижек вмешался, нам тоже захотелось сделать профанацию. Поэтому мы встали и сказали, обращаясь к Жижеку:

— Мы сейчас покажем вам, как действуют рабочие.

После этого мы выпрыгнули на арену амфитеатра, где стоял Жижек, и немного поплевали на него. Это не были крупные плевки, только небольшие брызги.

Тут все на нас накинулись. В аудитории сидели в основном студенты Жижека, которые смертельно за него обиделись. Они стали орать,

что мы подонки и должны убираться вон. А мы вернулись на свои места и ждали, что скажет Агамбен.

Тут произошло нечто смехотворное. После небольшого шторма установился мёртвый штиль. То есть Жижек и отчасти Агамбен сделали вид, что ничего не случилось. Какие-то слушатели пытались задавать вопросы, а философы старались как ни в чём не бывало на них отвечать. Это было удивительно лицемерно. Нам стало стыдно за всё происшедшее, мы встали и ушли. Больше мы Агамбена не видели.

Но зато мы прочитали почти все его книги. И мы их полюбили. Потому что он говорит в них то, что мы и сами чувствуем. Но он это ещё и замечательно формулирует. Например, он говорит, что мы живём в пост-мессианскую эпоху. И поэтому всё нужно бросить и заняться только вещами декреативного и разрушительного характера. И ещё он говорит, что грядущее человечество будет состоять из трикстеров, фальшивок и незаинтересованных обманщиков. И ещё Агамбен восхищается Дон-Кихотом,

Пиноккио и Настасьей Филипповной из романа «Идиот». И мы тоже ими восхищаемся.

Поэтому-то через несколько лет после первой встречи с Агамбеном мы и решили отправиться в Рим и попросить у философа денег.

2-е откровение: поезд

В Париже мы несколько раз были биты, да и вообще прискучило. И вот мы купили билеты на поезд Париж — Рим и сели в вагон третьего класса.

В нашем шестиместном купе кроме нас помещались ещё француз, итальянец и пожилая индусская пара.

Было невыносимо душно. Все выглядели нервно, только индусы ели какую-то чрезвычайно пахучую еду. Наконец все улеглись спать.

Но не тут-то было. Пожилой индус начал пукать. Видимо, так на него подействовала эта ароматная пища. Пукал он почти беззвучно, но крайне пахуче и несколько в другом роде, чем его еда. Всё-таки он её уже переваривал. Запах изменился.

Француз и итальянец стали бурно ворочаться. Потом они начали переговариваться между собой и включили свет. На их лицах были написаны негодование и отвращение. Они смотрели на индуса как на презренного негодяя. А он тихо

лежал, повернувшись к стенке. Его жена смотрела во тьме большими красивыми глазами.

В конце концов два европейца решили покинуть наше купе. При этом они забрали с собой все свои вещи. Это было сделано очень демонстративно.

Мы не хотели бросать индусов. Мы пытались стоически выдержать этот настойчивый запах. Сначала мы просто вышли в коридор, потому что не спалось. Но когда мы вернулись, запах только усилился. Поэтому мы снова вышли в коридор и долго беседовали о мировом шабате, когда люди откажутся от экономического прозябания в пользу декреативного бытия. Потом мы совсем устали и обнаружили, что индусы закрыли наше купе изнутри. Нам не хотелось их беспокоить. К счастью, в соседнем купе дверь была приоткрыта. Мы обнаружили там два свободных места.

Поздно ночью поезд остановился. Это была французско-итальянская граница. Пограничники проверяли паспорта. Наши остались в куртке в индусском купе. Пограничники смотрели на

нас плохо. Они долго стучали в дверь запертого купе. Наконец индус открыл. Мощная волна удушливого запаха накрыла нас и пограничников. Они были явно ошарашены. Быстро вернули нам наши паспорта без лишних разговоров. Но индусов мучили целых двадцать минут. Пересмотрели все их бумаги.

Наконец поезд тронулся. Мы были в Италии.

3-е откровение: цыганки

Утром мы проснулись в чужом купе, наполненном полными женщинами. Поезд шёл очень медленно. Было крайне душно. Одна из женщин сказала по-польски, что поезд опаздывает на два часа.

Потом поезд опаздывал на три часа.

Потом на четыре.

Мы вернулись в наше купе. Индусы исчезли. С нами случилось то, что Лев Толстой однажды назвал «арзамасским ужасом». Он приехал в город Арзамас, ночевал там в плохой гостинице, и его охватило такое отчаяние, такая оставленность, что он скрежетал зубами и боялся повеситься. С нами это случилось возле Флоренции, когда поезд встал как вкопанный. Показалось, что мы в бочке, а бочка — в море.

Наконец мы прибыли в Рим.

Первое, что мы увидели, выйдя из римского вокзала, были две цыганки. Они стояли посреди дороги и предлагали свои услуги проезжающим автомобилистам. То есть они предлагали

помыть им машины. Цыганки стояли на дороге с подоткнутыми за пояс юбками, с большими сумками, болтавшимися на боку, с щётками в руках. Они непринуждённо болтали между собой и покрикивали на проезжающих. Создавалось впечатление, будто они у себя дома. Это было просто восхитительно. Мы тут же им позавидовали и решили, что тоже должны так себя чувствовать и вести во всех местах. В тот же момент мы взяли такси и поехали осматривать город. Мы решили, что будем тратить все оставшиеся деньги, пока они не кончатся, а потом попросим их у Агамбена. Или ещё у кого-то.

4-е откровение: мигрень

Мы сняли номер в отеле возле пьядца Навона. Это была огромная пустая комната с громадной резной кроватью в углу и таким же громадным шкафом. Ещё там был маленький столик с крошечным телевизором. Окно выходило на глухую кирпичную стену. Полы были каменные. На стене висела карта, изображавшая Рим в XVII веке.

Мы тут же сбегали и купили себе пиццу, бутылку красного вина и кубинскую сигару «Ромео и Джульетта». Мы съели пиццу — и нам показалось мало. Мы допили бутылку вина — и нам показалось мало. Мы выкурили сигару — и нас затошнило. То ли от перевозбуждения, то ли от усталости, которая накопилась в нас за всю нашу жизнь, у нас разыгралась страшная мигрень с рвотой. Мы бегали из кровати в туалет и обратно. В кровати мы лежали, а в туалете нас сотрясала чудовищная блевотина, рвущаяся из нас судорожными толчками.

Потом всё кончилось, и мы заснули. Во сне нам привиделся сад. Там были высокая вол-

нистая трава и цветущие деревья с фруктами. Цветы и фрукты благоухали одновременно. В этом саду стояли столы, а на столах — клетки. В клетках сидели разные птицы. Выглядело так, что те птицы, которым полагалось бы сидеть на деревьях и летать в воздухе, оказались заперты в клетках. Наш позыв был эти клетки открыть и птиц выпустить. Но как только мы касались клеток, наши пальцы сковывала какая-то мощная и таинственная сила, мешающая им. Пальцы нас не слушались, и нам не удавалось открыть клетки. Мы бросали одни и подходили к другим, но ничего не получалось. Это было страшно мучительно. Наконец нам удалось открыть одну клетку, но маленькая белая птичка, которая там сидела, так и осталась внутри. У неё был очень усталый вид. Тут мы проснулись и сразу вспомнили и произнесли вслух стихи, которые мы очень любим, но которые, казалось, давным-давно позабыли:

Вчера я растворил темницу
Воздушной пленницы моей,

Я рощам возвратил певицу,
Я возвратил свободу ей.

Она исчезла, утопая
В сияньи голубого дня,
И так запела улетаю,
Как бы молилась за меня.

5-е откровение: завтрак

На следующее утро мы сообразили, что если останемся в этой гостинице, то наши деньги вылетят за неделю. Поэтому мы решили позавтракать и убежать отсюда, не заплатив по счёту. Наши имена они записали, но документы не взяли.

Завтрак был сервирован в большой белой комнате, где повсюду висели изображения Иисуса, девы Марии и папы Римского. Разные туристические семьи и пары сидели за столиками. А чай и кофе подавал филиппинец в резиновых перчатках, которыми обычно пользуются, когда моют полы.

Мы решили выпить как можно больше чаю и кофе и съесть как можно больше булочек с джемом, чтобы как можно дольше не тратить денег на еду. Поэтому мы постоянно окликали филиппинца в перчатках, чтобы он подливал нам в чашки, но он нас крайне невзлюбил и обходил стороной. Поэтому мы стали кричать «эй, эй» и указывать пальцами на наши чашки. Тогда он сказал:

— Господа, вы ведёте себя неприлично!

Тогда нам стало смешно, и мы схватили остроконечные булочки, похожие на девичьи сиськи, и приложили к своей груди.

Он очень на это обиделся и наотрез отказался налить нам кофе. Или чай.

Тогда мы решили подарить ему ремень. У нас был один очень неплохой ремень, украденный в Лондоне, в Ист-энде. Мы сбегали в нашу комнату и принесли ремень. И к нашему полному удовлетворению, этот филиппинец принял наш подарок прямо в свою резиновую перчатку.

6-е откровение: рим

Мы вышли из гостиницы, не заплатив, и отправились бродить в поисках приключений. Вдруг мы оказались возле колонны Траяна. Там стояла русская пара. Дама сказала:

— Вот они здесь ходили и говорили, и всё это было тысячу лет назад. Мне так печально об этом думать. Сама не знаю почему...

Потом мы увидели это высоченное здание, похожее на громадную пишущую машинку со статуей Виктора-Иммануила. На здании сбоку висел плакат, на котором значилось: «*Дада и сюрреализм. Открытие — сегодня!*» Оказалось, что позади есть музей и там будет вернисаж. А ведь мы приехали в Рим, чтобы делать профанации в сердце всемирного Музея.

Не успели мы оглянуться, как нам на ногу наехала машина. Она давала задний ход и вот теперь встала на большом пальце нашей ноги. К счастью, наша обувь была на размер больше, чем надо. Но мы слегка испугались и пришли в ярость. Машина стояла и стояла на ноге.

Мы стали барабанить по ней и кричать женщине за рулём:

— Fuck off! Step out!

Она наконец съехала с ноги. Однако вокруг уже собралась толпа. Почему-то все были настроены против нас, а не против водителя. Может, потому, что мы ругались по-английски и стучали зверски по машине. Женщина за рулём выглядела так, будто она сейчас упадёт в обморок. Публика вопила:

— Полицию! Зовите полицию!

Это нам не понравилось, и мы быстрым шагом направились прочь. За нами увязался какой-то тип, орущий:

— Вы должны дать показания!

Тогда мы припустили совсем бегом и скрылись в каменных переулках.

Вечером мы вернулись в музей на открытие выставки. Там уже была целая очередь. Мы приготовили наши фальшивые пресс-карты, но они нас пропустили без всяких.

Там была куча всяких мелких вещиц и рисунков. Выставку организовал Артуро Шварц,

который занимался дада и сюрреализмом всю жизнь. Маленькие штучки и рисунки — это хорошо. Мы тоже делаем время от времени рисунки и продаём их. Это что-то вроде лубков. У дада рисунки получались, как у ворон.

На вернисаже было много важных старых пердунов и новой мировой мелкой буржуазии. В конце концов мы отыскали местечко для выходки. Это было что-то вроде балкона, под которым протекала толпа зрителей. Мы встали возле самых перил и начали петь. Мы старались петь, как все эти знаменитые итальянские оперные дивы. Мы использовали такую же жестикуляцию. Мы старались петь во всю мощь наших лёгких. В результате мы даже впали в транс. Мы позабыли себя и полностью отдались пению. Мы даже стали срывать с себя одежду.

Тут появились огромные вышибалы. Кажется, их послал сам Артуро Шварц, который наблюдал наше действие сбоку. Эти вышибалы вывели нас с выставки и внимательно проследили, чтобы мы убрались подальше.

От нашего пения внутри нас образовалось воздушное пространство, мы наполнились газом и неслись по улицам Вечного города, как воздушные шары. А вокруг нас распростёрлось какое-то громадное старинное кладбище, населённое живыми людьми. То есть они там были захоронены заживо.

7-е откровение: линия бегства

Нам не хотелось тратить оставшиеся деньги, поэтому мы решили заночевать на Тибре. Тибр — небольшая речушка, стиснутая высокими каменными стенами. К Тибру можно спуститься по лестницам. Обычно эти лестницы закаканы собачьими экскрементами.

Мы нашли очень неплохое местечко на каменной платформе, постелили наш водонепроницаемый матрасик и залезли в наш старый спальный мешок. Но тут появился африканец. Он сказал, что мы заняли его место.

— All right, — сказали мы и пошли искать себе новое пристанище. Мы также предложили ему глотнуть красного вина, но он отказался. Он вообще был очень нервный, с большими красными глазами, в углах которых было что-то жёлтое, как будто он их давно не мыл.

Мы нашли ещё одну каменную плиту неподалёку, совсем поблизости от Кастель сан-Анджело, где когда-то был заключён Бенвенутто Челлини. А сейчас там проходила выставка «Гоголь в Риме».

Мы уже выпили наше вино и совсем приготовились ко сну, когда этот африканец появился вновь. Он сказал, что это его территория и он не хочет нас здесь видеть. Мы сказали:

— Мы будем очень тихо здесь спать. Мы вообще очень тихие.

Но он сказал:

— Нет, это моя территория.

Тогда мы ему начали объяснять теорию Делёза о детерриториализации. О линии бегства. О том, что нужно отказаться от всего своего во имя мудрости и экзистенции. Но он не хотел нас слушать.

Он сказал:

— Уходите, вам нельзя здесь оставаться.

Тут мы немножко разнервничались и спросили:

— Почему нельзя?

Он сказал:

— Потому, что я так сказал.

Тут у нас получился какой-то жест: то ли отрицания, то ли несогласия. Но он, кажется, истолковал этот жест как агрессивный и опасный. И он начал нас бить.

Это была не драка. Потому что мы не успели пустить в ход кулаки. Потому что он бомбардировал нас безостановочной, мощной и умелой серией ударов. Его кулаки летали в воздухе, как металлические шары на цепях. Но мы всё-таки успели схватить наши пожитки и пуститься в бегство. Он нас не преследовал.

8-е откровение: квартира

В результате у нас был поцарапан лоб, разбита губа и распухла скула. Вместе с наездом машины на ногу и выталкиванием с выставки «Дада и сюрреализм» мы имели уже достаточно непосредственных контактов в Риме. Достаточно для такого малого срока. Но мы всё-таки заночевали тогда на Тибре, только несколько в стороне от места происшествия. И в несколько испорченном настроении. Прямо скажем, нас охватила смертельная тоска.

Утром мы решили искать квартиру. Непонятно, когда мы ещё встретим Агамбена. Нельзя позволить миру изнурить тебя до предела.

Там было какое-то агентство. Поэтому мы обратились туда. Ведь в Риме мы не знали ни одной живой души и оказались здесь впервые.

Агент сказал, что есть квартира возле Ватикана. Мы сели в авто и поехали.

Это была старушечья квартира прямо напротив ватиканской стены с надписью: “MUSEI VATICANI”. Мы сняли её на месяц. В результате

у нас в карманах остались, можно сказать, гроши. Мы сразу пошли в супермаркет, купили кое-что, а всё остальное взяли просто так. Для этого вы должны положить в каталку сумку и набить её продуктами, а чуть-чуть товаров оставить в самой каталке. У кассы вы перекладываете сумку на плечо и молитесь, чтобы кассирша не попросила её показать. Обычно она не просит, но если у вас вся физиономия в садинах, то лучше молиться.

В квартире мы выложили наши приобретения на стол. Итальянская еда — детская! Все эти пасты и спагетти придуманы для игры. А сыры — пиры! Шоколад — для ягнят! Виноград — для котят! Bravo! Виват!

Мы ели целый день. Так всегда бывает после перенапряжения и побоев.

9-е откровение: слава

Наша квартира была довольно-таки бедная. Стол. Стул. Шкаф. Но на самом деле это был не стол, а лобное место для рубки голов. Не стул, а постав для созерцания ничто. Не шкаф, а само ничто, сколоченное столяром.

Единственным украшением тут был гипсовый бюст Августа. Глядя на этот бюст с кровати, мы стали размышлять о славе.

Мы рассуждали так. Славы, как она существовала в древности, больше не существует. Тогда была государственная слава императора, но была и народная слава Аполлония Тианского. Были маги, кудесники, где-то были пророки. Были поэты. Нерон и Гелиогабал презирали государственную славу и мечтали о народной, о сплетне, слухе, молве, легенде. Now all this is over.

Сейчас есть политики, есть селебрити. И есть так называемое признание. Признание кем? Твоими коллегами, прессой, публикой. Всё это нас отвращает. Быть признанным этими клика-

ми? Нет, нет и нет. Мы можем мечтать только об устной потаённой искажённой молве — слабом отблеске древней низовой славы. Мы любим Настасью Филипповну, о которой Агамбен сказал, что она ставила жизнь на кон. Она делала скандалы, дерзила и не трусила.

10-е откровение: кафе

Гуляя по Трастевере, мы наткнулись на кафе. Зашли, выпили эспрессо. Превосходное утро, хорошее настроение.

Бармен спросил:

— А вы откуда? У вас акцент, как у моего друга из Югославии.

Мы отвечали:

— Нет, мы с Тихого океана.

Он удивился:

— А откуда именно?

Мы сказали:

— Трудно сказать. Мы перебираемся вплавь с острова на остров.

Он ухмыльнулся. Он был блондин, кудрявый, с острыми чертами, но в круглых очках.

— А у вас хорошее кафе, — сказали мы.

— А это не кафе, — он ухмыльнулся, — это художественная галерея.

— А почему здесь бар?

— А это такой художественный проект.

— А кто его делает? — не унимались мы.

— Я делаю, — ответил он не без важности.

— Правда?!

— Правда. Кафе будет только месяц. А потом снова обычная галерея.

— Вот здорово! — сказали мы.

— Вам правда нравится? — он оживился. — У нас, кстати, большая программа по вечерам: концерты, перформансы, поэтические чтения...

— Вот как! — закричали мы. — Мы ведь тоже музыканты!

— Ах, так, — сказал он и достал какой-то листок. — Хотите выступить у нас?

— Очень хотим.

Он сверился со своим листочком.

— Тогда вы можете выступить прямо завтра, в восемь вечера: свободный час. У нас вообще программа довольно подвижная.

— Великолепно, — сказали мы. — Очень приятно.

— А вам что-нибудь специальное нужно для выступления? — поинтересовался бармен.

— Нет, — сказали мы. — Просто стол.

— Столы у нас есть, — сказал он.

Там действительно стояли предметы, напоминающие столы.

II-е откровение: концерт

На следующий день в восемь вечера мы были в кафе-галерее. Уже собралась кое-какая публика. К нам подошёл вчерашний бармен-художник.

— А всё-таки — вы откуда? — спросил он.

— Да мы из Албании, — сказали мы.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся художник.

— А воспитывались мы в Китае, — сказали мы. Он продолжал посмеиваться.

Публики еще прибавилось.

— А вы музыканты или художники? — снова спросил бармен.

— Вообще-то мы больше всего любим готовить пасту, — сказали мы. — Вернее, мы её любим есть, — уточнили мы.

Художник опять хихикнул.

— А какую музыку вы будете играть? — спросил он.

— Мы — барабанщики, — сказали мы.

Он отстал. Публика смотрела на нас недоверчиво.

Мы приготовили наш стол. Поставили его на самое видное место. Публика уселась за столики.

Представление началось.

Мы барабанили кулаками по столу. Одновременно снизу мы подталкивали стол коленями, сидя. Сидели за столом и со всех сторон били его — руками и ногами. Одновременно начали раздеваться. Стол ходил ходуном, показывая нашу плоть. Стук был древний, ритмический, сбивающийся с ритма, снова его находящий. Мы сидели за столом и почти разбивали его, но больше всё-таки разбивали кулаки.

И тут мы обосрались. Обосрались себе в руку и тут же размазали дерьмо по столу. И опять колотили его.

Стол был весь испачкан калом. Это был уже не стол. Это был какой-то очень конкретный музыкальный инструмент или просто вещь, из которой мы извлекали звуки. Одновременно мы начали петь. Разные стихи, известные нам с детства. Всякие, разные стихи, которые приходили в голову и согласовывались с ритмом. Было много говна, стихов и ритмических стуков. Был

показ гениталий. Было пританцовывание. Всё ходило ходуном.

Публика, кажется, остолбенела. Зрителей набралось много, и всё новые заходили с улицы, вероятно, привлечённые стуком. Кафе-галерея имела большую стеклянную витрину, так что с улицы всё было видно. Люди заходили и начинали сразу снимать происходящее своими мобильными телефонами и камерами. Когда мы это обнаружили, то стали показывать разогнутый палец. Разумеется, он был в дерьме. Всё вокруг уже было в дерьме и воняло.

Какие-то люди стали резко покидать помещение. Наши кулаки были уже основательно отбиты и кровоточили. Мы решили: хватит, кончаем. Очень устали. Всё было довольно интенсивно. Интенсивность — это самое главное в жизни!

Зрители покидали кафе. Сильно пахло говном. Оно было мягким, обильным и легко размазывалось. Вся поверхность так называемого стола была в этой жёлтоватой массе.

Мы еле могли отдышаться от нашего действия. Тут к нам подбежал бармен, он же художник.

— Вы должны немедленно всё здесь почистить, — сказал он. — У нас через полчаса следующее выступление.

На самом деле он был взбешен, этот тип. На удивление, на философское удивление нашей наглостью у него просто не хватало силы духа. Сила, которая сделала его художником, знала людей лучше, чем он сам.

— Конечно, почему бы не почистить, — сказали мы.

Он принёс губки, тряпки, воду и мы стали убирать наше жёлтое испражнение. Но он не унимался. Он нас понукал. Тут мы на него прикрикнули, впрочем, довольно невинно. Он тут же отскочил и отстал.

Мы убрали экскременты, взяли себе со стойки бутылку вина и уселись снаружи, на улице, где тоже были столики. Там был один тип с сигарой, который смотрел на нас как на помешанных.

— Вы коллекционер? — спросили мы.

И он сказал:

— Да, коллекционер.

И мы попросили его дать нам сигару. И он незамедлительно исполнил нашу просьбу.

Теперь мы спокойно курили сигару и пили вино. Но бармен-художник не хотел оставить нас в покое. Он стал кричать, чтобы мы убирались отсюда. Кажется, на него только сейчас произвёл полное впечатление наш акт. Кажется, он полагал, что мы нанесли ему личное оскорбление. Он даже вырвал у нас изо рта сигару. Впрочем, мы никогда не были реальными курильщиками. Табак на нас слишком сильно действует, просто с ног сбивает.

Короче говоря, мы с ним немножко потолкались. Обменялись, как говорится, парочкой оплеух.

Но тут вся толпа на нас ополчилась. И кто-то нас очень сильно пихнул. Вся эта группа индивидов дышала неприятием и тупым негодованием. Они нас толкнули, и мы упали. И довольно сильно расквасились. Окровянились. Такое случается.

Но противно было смотреть, как они радовались нашей крови. И всё это были художники,

дизайнеры, модельеры, критики и тому подобное. Очень даже радовались, и никто не подошёл с платком, салфеткой, просто словом. У них ведь свой план, своя диспозиция.

И думали мы: «Да, вот она, наша жизнь, с этим говном и разбитой губой, да; это наша жизнь — и пусть она всегда будет противоположна той жизни, которую ведёте вы, художники.

Вы верите в успех, в карьеру — а мы карьеру делать не будем, а будем возиться с нашим говном и восторгом.

Вы любите собираться и делать вид, что вы друг друга цените, — а мы будем всегда откалываться и не признавать ваше тщеславие и ваш трép. Вы ведь друг друга терпеть не можете.

Вы читаете книги, чтобы извлечь из них для себя что-нибудь полезное и потом это использовать для собственного продвижения, — а мы их читаем, чтобы прийти в возбуждение и использовать их как оружие.

Вы хотите заводить полезные знакомства — а мы будем плевать на возможность таких знакомств.

Вы любите красивую жизнь — а мы на неё смотрим с ужасом.

Вы мечтаете о том, чтобы увидеть своё имя в журнале, — а нас тошнит от самого вида этих журналов.

Вы хотите расслабляться — мы хотим обалдевать. Вы хотите произведений — мы их не хотим. Мы хотим жизни как произведения искусства.

Вы хотите жить в самых престижных местах и иметь недвижимость — мы ненавидим собственность и нигде не находим себе места.

Вы знаете только своих современников — а мы любим мертвецов.

Вы любите удачников, а мы — наоборот.

Вы любите глупость, а мы — мудрость.

Вы — часть этого общества, а мы — нет.

Вы боитесь, а мы ненавидим страх.

Вы художники, а мы — нет.

Мы всё будем делать наоборот!»

12-е откровение: мы и они

Ещё мы думали так: вы тикаете, как стенные часы, — а мы поём, как птички в лесу.

Вы покупаете в лавке — а мы рвём с дерева. Вы платите — мы воруем.

Вы — литературных и прочих вечеров завсегдаи, а мы — их ниспровергатели.

Вы хотите положительных эмоций — а мы отчаянием не гнушаемся.

Вы кудахтаете с девицами — а мы шепчемся со старичьём.

Вы исчисляете жизнь годами — а мы плывём в ней, как в реке.

Вы едете на вокзал, чтобы попасть в другой город, а мы — чтобы испытать скорбь.

Вы покупаете в аптеке вату — а мы хватаем апельсин.

Вы любите розы, а мы — их шипы.

Вы для богатых — мост, а мы — кобылий хвост.

Вы боитесь сделать ошибку, а мы знаем, что всё — ошибка.

Вы срёте, и ваше говно по трубам городов стекает в море, где пловец облепливается этим говном, теряет силы и в конце концов тонет, и рыбы прикасаются к его мёртвому телу своими удивлёнными ртами, а мы видим этого пловца в ночном кошмаре и вдруг просыпаемся и не можем прийти в себя.

13-е откровение: макро

Чего-чего, а уж музеев в Риме хватало, это правда.

Не успели мы отдышаться после кафе-галереи, как попали на открытие американской выставки в MACRO FUTURO. Это — отделение музея современного искусства в Риме. Там была грандиозная вечеринка.

Нужно было пройти через заслон телохранителей, чтобы проникнуть во внутренний двор, где бушевала музыка. С фальшивой журналистской карточкой мы не ведали проблем. Тут в основном была молодёжь, если не считать инвалидного кресла, в котором разъезжал по двору двойник Микеланджело Антониони. Это был стройный старик с кудрявой седой шевелюрой, окружённый полуголыми девицами с коктейлями в руках и причёсками в форме фаллосов. Пупки девиц торчком торчали.

Толпа состояла из удивительно гладких хлыщей. Поражало то, что волосы у них у всех были одинаково напомажены и причёсаны. Они дви-

гались с пластиковыми стаканчиками в руках, а в стаканчиках колыхалось пиво.

Внутри помещалась выставка молодого нью-йоркского искусства. Гвоздём выставки был только что умерший Даш Сноу. Нам пришлось с ним столкнуться в Берлине, когда мы выбивали из рук публики шампанское, а Даш Сноу очень разозлился и хотел нас побить. Но мы убежали и от него, и от Джонатана Мессе, и от всей их свиты, оравшей: «Террористы! Полицию!» Убежали, показывая палец.

Вся эта выставка в MACRO была как пучок искусственных цветов, воткнутых в искусственную кучу дерьма. Тут и не пахло настоящими ароматами.

Мы снова вышли во двор. Девицы с громадными декольте и с какими-то растопыренными ногами танцевали, воткнув наушники и заливаясь хохотом. На подиуме готовилась к выступлению рок-группа. И вот они начали играть некий панк, играть нарочито грязно и громко, а мы решили потанцевать, хотя вокруг никто не танцевал, а может быть, именно поэтому. И мы

начали танцевать в обычной нашей манере, то есть стоя на плечах, упёршись башкой и рогами в пол и задирая в воздух болтающиеся ноги. Так ты не видишь толпу кретинов, не различающих сопли в сахаре и просто сахар, так ты видишь только небо и звёзды.

Мы танцевали на голове довольно долго, а потом залезли на подиум и стали мешать музыкантам. Мы тоже хотели петь, играть на барабанах и гитаре, тем более, что мы можем это делать лучше, чем многие, кто имеет эту возможность, а мы — нет. Музыканты в MACRO не очень даже и сопротивлялись. Мы орала в микрофон, как сви́ньи резаные. Однажды давным-давно мы слышали от нашей бабушки рассказ о том, как она в детстве была свидетельницей убийства сви́ньи. Её дядя — военный в форме — где-то в деревне застрелил сви́нью прямо из револьвера. Но сви́нья знала заранее, что её ожидает, и начала вопить за полчаса до расправы. Она вопила так, что наша бабушка рыдала навзрыд. Так же вот и мы пытались вопить на толпу на проклятом подиуме в MACRO. И у нас получилось.

Потом наши силы иссякли. И мы — друзья мудрости — почувствовали, как паста, которой мы в тот день отобедали, вдруг превратилась в наших кишках в какие-то водоросли, перемешанные с солёной водой, и там, в водорослях, трепыхались рыбы. И мы решили выпустить этих рыб из заточения и швырнуть их в экстазе в эту толпу. Поэтому мы обосрались. Это говно мы швыряли пригоршнями себе на голову и в бурлящую массу людей. Люди орали и отпрыгивали. Началась небольшая давка. Но один молодой человек с лицом Катулла кинулся к нам, стал выхватывать наше дерьмо и мазать себе на щёки. Мы хохотали вместе с ним, но тут появились вышибалы в резиновых перчатках, они надевали эти перчатки на бегу. Они прорезали толпу со всех сторон, взобрались на подиум и потащили нас прочь. Катулл куда-то исчез. Они тащили нас и тащили, пока мы не оказались у входа в MACRO, и тут они нас толкнули так, что мы повалились на землю. Это падение было тем более оправданно, что наши штаны были до сих пор спущены и сбились на коленях. Но тут мы

их натянули и, не слишком спеша, пошли вон. Вышибалы глядели нам вслед в ужасе и отвращении.

Тут мы сразу попали в какой-то обширный двор, заполненный римским плебсом. Народ сидел на скамейках, прямо на земле и наслаждался пивом. И вдруг мы увидели колонку, настоящую водяную колонку. И мы пустили струю чистой и холодной воды, и начали пить и отмываться от налипшего и уже засохшего кала, и испытали такое счастье, такое наслаждение, которое возможно только в детстве, после удачной проказы, после великолепной шалости, после восхитительной выходки. Собственно, мы и совершили такую шалость, и не были арестованы, и не были избиты, и пили теперь эту вкуснейшую воду, и над нами простиралась римская ночь, и мы не были заточены в своём теле, а были где-то снаружи, среди этого плебса, и очень, очень устали от пляски, и ноги нас почти не держали, а нам предстояла долгая дорога к Ватикану, где у нас был ночлег.

14-е откровение: против халтуры

Здесь надо бы заметить, что действия наши в Риме не носили характер устойчивой модели или метода, как можно было бы подумать. Использование говна, как и использование слюны, мочи, снов, слов и т.д., — это в нашем случае не эксплуатация определённой техники или знания, а скорее творческий (или, как говорит Агамбен, детворческий) подход для выхода к новой экзистенции, к форме жизни. Профанация — это не ключ и не отмычка, которая отпирает любые двери, а игра с замками, ключами и дверями, которая приводит к непредвиденным результатам и невероятным открытиям. Профанация — это создание ситуации, в которой нормы и правила перестают действовать и открывается неизвестное. Говно в нашем случае — не торговая марка, а риск, риск, а не стиль, риск, а не манера. Это читатель пусть зарубит себе на носу.

На следующий же день после MACRO мы оказались в узком переулке, запруженном толпой, перед очередной галереей, на очередном верни-

саже. Нужно было действовать опять, нужно было сражаться, вступать в рукопашный бой с машиной, с Музеем, с тем, что Жиль Делёз называл «глупостью». И мы действовали. Мы вошли в галерею прямо со спущенными штанами и тут же обосрались себе в ладонь. Обосраться в нашем случае было возможно, поскольку давление Системы мы ощущали на физическом уровне, Система давила на наши органы, наши нервы, нашу плоть — а в этом случае, повторяем, выделение кала есть самое естественное дело. Но обосравшись, мы действовали своеобразно.

В галерее висели картины. Всё, что о них можно было сказать, уместится в одно единственное слово: халтура! Халтура! Она сейчас повсюду. Когда мы обосрались, толпа расступилась в ужасе. Мы же как ни в чём не бывало стали подходить к картинам и ставить возле них точку говном. Обычно в галерее ставят на стене красную точку рядом с произведением, которое уже продано. Так вот, мы ставили говняные точки рядом со всеми картинами в этой галерее. И никто нас не останавливал. Когда же мы кон-

чили ставить наши точки, то вышли наружу и написали на стеклянной витрине галереи тем же самым говном: SOLD OUT. То есть всё продано. Тут нас попытались избить.

Интересно, что нечто подобное мы уже сделали в Берлине, в другой галерее. Но там с нами обошлись мягко. А здесь, в Риме, нас попытались бить. Чувствуете разницу, читатель? Мы хотели использовать одну шутку дважды, но результаты были разные. И мы клятвенно уверяем, что такой случай, когда мы дважды использовали один и тот же гиг, крайне редок в нашей практике. Мы всегда искали и ищем новые пути и новые инструменты в нашей деятельности. Но эти пути и эти инструменты обязательно должны быть смехотворными, профанными, исходящими из другой логики, чем всё то, что делается в так называемом искусстве. Это — обязательно, это — безусловно. И ещё: никогда не допускать халтуру. Халтура есть продукт капитала в эпоху мировой мелкой буржуазии, которая потеряла всякий нюх и всякий слух.

15-е откровение: экскременты

Это сказано и описано тысячу раз: сущностью Рима являются его руины. Развалины — квинт-эссенция Вечного города. Но разве бывают развалины без экскрементов?

Они говорят: какое говно!

Они говорят: scheisse!

Они говорят: empty and useless as shit!

Они говорят: merde! Или: merda!

Но для власти во всём мире это уже чересчур, что человек какает.

Так могут ли какашки быть бесполезными?

Отнюдь.

The stuff of the lazy and the minstrel.

Говно лежит в развалинах, чтобы напомнить о чём-то. Но где взять силы, чтобы припомнить? Где взять эту память?

Говно в развалинах — неужели это только мусор на чьей-то собственности? Неужели? Нет.

Или говно — это просто говно? А развалины — развалины?

К сожалению, в Риме больше не осталось развалин. Какие это развалины, если они двадцать четыре часа в сутки контролируются карабинами? Никакие это не развалины. Развалины дики, зарастают сорняками, в них водятся одичавшие кошки и собаки, в них живут бродяги и сталкеры, в них свободно писают и какают запущенные существа. Ничего подобного в Риме нет. Там развалины — это тоже музей, часть туристического аттракциона. Толпы туристов заполняют Рим, а жители его — тоже туристы в собственном городе. Гёте писал, что Рим воняет. Сейчас он уже не воняет, говна на улицах нет, оно в трубах. А в развалинах обязательно должно быть говно — говно, шприцы, мухи, стекло, песок, обломки, камни, всякая дрянь. Но сейчас в Риме клиническая чистота, как в мастерской художника Зобернига. Когда Стендаль описывал Рим, он говорил о беспорядке. Сейчас в Риме порядок, как в писательском кабинете Андре Жида. Когда Байрон рассказывал о Риме, то там повсюду были разбойники и воры, которые в узком переулке могли накинуть на прохо-

жего деревянный обруч. Этот обруч обхватывал руки прохожего так, что он не мог ими пошевелить. Поэтому вора́м было очень удобно обчистить карманы прохожего и скрыться в другом каменном переулке. Сейчас никаких таких хулиганов и никаких обручей нет. Там очень много порядка, как в американском госпитале для сенаторов и конгрессменов. Поэтому там живёт великий художник Сай Туомбли. Этот художник действительно рисует очень неплохие картины и выставляет их в галереях Ивонн Ламбер и Ларри Гагозиана. Однажды его картину на выставке поцеловала девушка и оставила на этой картине след от своей губной помады. Галерист Ламбер подал на неё в суд. Её присудили к большому штрафу. Но Сай Туомбли почему-то не набил морду этому Ламберу и даже не остановил его.

Нам эту историю рассказал один студент в Париже.

Поэтому в Риме мы решили навестить Сая Туомбли и спросить его, почему он так оплошал в этой истории с губной помадой.

16-е откровение: великий художник

Нам повезло: вместо того чтобы искать дом Сая Туомбли и напрашиваться к нему в гости, мы его встретили на улице. Ну, не совсем на улице, а в ресторане. Дело было так.

Идём мы вечером по тихой римской улице и вдруг видим факелы, горящие у входа в старинное здание. Мы подумали, что это очередной музей, — и ошиблись. Это был очень дорогой ресторан. Нам и в голову не пришло туда сунуться — денег нет. Но там было большое окно. И в это окно мы увидели светлый зал, а в зале стоял стол, а за столом сидел Сай Туомбли. Как мы его узнали? А очень просто: видели его фотографии в журналах и книгах. К счастью, у нас очень хорошая зрительная память.

Мы вошли в ресторан, и нас встретил метрдотель. Он спросил нас, что нам угодно, и мы ответили, что нас ожидает Сай Туомбли. Он сразу понял, о чём идёт речь, и пропустил нас в зал.

Решительным шагом мы направились к столу знаменитого художника. Он, кажется, ничего

не подозревал и спокойно ел свой салат. Мы отодвинули стулья от соседнего столика и сели прямо рядом с Саем Туомбли. Тут он уже несколько насторожился и положил свою вилку. Мы с ним поздоровались, но он не ответил. Тогда мы завели разговор по-английски и с достоинством.

— Знаете ли вы, кто такой был Артюр Краван? — спросили мы важно Сая Туомбли.

Он посмотрел на нас в некотором недоумении и опять промолчал.

— Мы очень любим Артюра Кравана, — продолжали мы. — Он был двухметрового роста и весил сто пять килограммов. Но у него никогда не было денег. Поэтому однажды он пришёл к Андре Жиду, чтобы попросить денег у знаменитого писателя. Ведь Андре Жид имел репутацию очень прогрессивного автора. Так вот, Артюр Краван пришёл к Жиду, а Жид даже не угостил его обедом. Дал только чашку чая. И вообще вёл себя не как гостеприимный хозяин, а как буржуазный сноб и лицемер. Артюр Краван был очень разочарован. Никаких денег он от Андре Жида не получил. Ушёл без ничего. А потом написал о

своём визите блестящее эссе, в котором высмеял Андре Жида до мозга костей и до хруста гвоздей. Знаете ли вы, Сай Туомбли, эту историю о Краване?

Но Сай Туомбли по-прежнему молчал. Рядом с ним, кстати, сидели ещё два господина, разделяя ужин с великим художником. Эти два господина смотрели на нас уже невежливо. И где-то там, вдалеке, маячил метрдотель, вглядываясь в то, что происходило за нашим столом.

В этот момент мы несколько перевозбудились. Может, это произошло из-за близости к такой крупной фигуре, как Сай Туомбли, а может, потому, что мы вообще склонны к перевозбуждению. Одним словом, мы начали есть с тарелки мэтра. Там у него лежали листья салата, кусочки сыра и очень сочные помидоры. Мы потихоньку отправляли их себе в рот. Сай Туомбли смотрел на это с нескрываемым разочарованием. Мы заговорили опять:

— Это странно, что вы, по-видимому, ничего не знаете об Артюре Краване, который, между прочим, был племянником Оскара Уайльда.

А мы его страшно обожаем и даже ему подражаем. Вообще считается, что подражание — дело мелкое и неприличное. Но если вспомнить Франциска Ассизского, который подражал Христу, или Дон-Кихота, который подражал великим рыцарям, то ясно, что подражание может стать мощной силой трансформации. Есть подражание и подражание, и они отличаются как *rat's ass and elephant's ass*.

Разумеется, всё это мы говорили по-английски. Сай Туомбли нас слушал с широко открытыми глазами. Вообще, он был довольно крупный старик с осмысленным лицом, которое во время нашей тирады выглядело несколько застывшим.

На столе стояла бутылка красного вина и налитые бокалы. Мы попробовали вино. Оно оказалось хорошим.

Но тут в разговор вмешался один из двух господчиков, сидящих с художником. Он сказал:

— Вы нам мешаете. Мы не хотим вас иметь за этим столом.

Тут мы возразили:

— Вот видите, Сай Туомбли. Артюр Краван посетил Андре Жида в начале двадцатого века. Сейчас начало двадцать первого. Но западные люди ничему не научились за прошедшее столетие. И главное, чему они не научились — древнему обычаю гостеприимства. А ведь гостеприимство — это основа основ в человеческом общежитии.

Но тут, посередине этой очень важной темы, господин, который не хотел нас за столом, поднял руку и поманил метрдотеля. Метрдотель подошёл к нам незамедлительно, и не один, а с двумя официантами. У обоих были очень толстые запястья.

Господин сказал:

— Это нежелательные люди. Мы их не знаем и знать не хотим.

Тут уж мы знали, что произойдёт. У нас мелькнула мысль, прекрасная, в сущности, мысль: схватить скатерть на столе и потянуть, даже резко дёрнуть её, чтобы создать праздничное настроение в зале. Но, к сожалению, эта мысль

осталась нереализованной. Она так и пребыла прекрасной возможностью, о которой мы будем вспоминать с досадой и печалью.

Но ещё пару кусочков сыра мы с тарелки Сая Туомбли всё-таки взяли. На прощание.

За весь вечер он не произнёс ни слова. Такое поведение пристало царям, но в лице Сая Туомбли было что-то нецарское. Впрочем, мы царей не уважаем.

17-е откровение: в колизее

Наша тактика в Риме немножко напоминала тактику первых христиан, которых бросали в Колизей на съедение львам. Когда эти люди оказывались на арене лицом к лицу со зверями, то звери иногда на них не кидались. Просто смотрели или отходили в сторону. Львы не сразу схватывали шутку. Тогда христианам приходилось действовать первыми: они сами атаковали львов, сами бросались на них. Чтобы побыстрее кончить эту волокиту. Чтобы приблизиться к мессианскому озарению. Всё сразу.

Мы шли по городу и увидели этот сияющий автосалон с надписью: “Colosseum”. Сначала мы подумали, что это галерея Ларри Гагозиана, но потом поняли, что тут продаются машины. Там внутри стояли люди и пили белое вино. Нам тоже захотелось, и мы вошли внутрь. К нам моментально подскочил клерк и предложил купить автомобиль. Мы сказали, что подумаем.

Он стал показывать нам модели. Тут мы прямо спросили, нельзя ли нам выпить белого

вина. Можно. Мы выпили. Он продолжал уговаривать приобрести «альфа-ромео». Мы выпили ещё, и нам стало смешно. Мы расплескали вино на штаны. Кстати, мы были в очень неплохих штанах, украденных в магазине «Анатомика» в Париже. Поэтому клерк и счёл нас возможными клиентами. Но теперь штаны были в вине. Поэтому мы тут же их сняли и спросили, где их тут можно простирнуть, отмыть, привести в божий вид. Клерк был очень удивлён. Но мы уже хлебнули вина, а нам много не надо, только чуть-чуть.

Чтобы углубить и расширить радость, мы издали вопль. Сначала это был женский пронзительный крик, будто красотку ужалила гадюка. Потом этот крик перерос в индейский предсмертный раскат безличного хаоса — и замер. Какие-то клиенты в белых воротничках, какие-то приказчики в чёрных костюмах, какие-то жёны в кожаных сапогах повернули головы в нашу сторону, чтобы узреть нас — без штанов, улыбающихся им и машущих в знак приветствия ручкой. Этого было достаточно.

Наш клерк схватился за свой мобильник: то ли в полицию, то ли в психушку. Какая разница? Мы не хотели выяснять этот вопрос и кинулись наружу. Мы кричали им оскорбительные вещи. Они пытались задержать, схватить, остановить нас и вырвали штаны из наших рук. Прощай, «Анатомика»! Здравствуй, Колизей! Идущие на смерть приветствуют тебя.

18-е откровение: созерцание

Мы сидели в парке Боргезе, в этом удивительном парке, похожем на парк в любом провинциальном городе. Мы сидели на скамейке, изрезанной перочинным ножом, с признаниями в любви, с изображениями фаллосов. Мы сидели под бюстом Леонардо да Винчи с отколотым носом. А по соседству бюст Торкватто Тассо вообще был украден или разбит. Мы сидели в каштановой аллее и смотрели на народ.

Мимо прошла молодая пара с двумя маленькими детишками. Детишки шли заплетающейся пьяной походкой, которой часто ходят детишки. Эта походка есть спасение человечества.

Сегодняшнее человечество идёт не шатающейся походкой, хотя оно — шатающееся человечество. Как бы это объяснить? Очень просто: нужно дезертировать из этого человечества, нужно из него выбежать. Нужно выработать заплетающуюся походку, вернее, усвоить её.

Эти детишки постоянно останавливались, задерживали родителей. Они не знали, куда

им идти, а папа и мама знали. Когда ты не знаешь, куда идти, это лучше, чем когда тебя ведут суки и дураки. Детишки нагибались и поднимали каштаны. Так и нужно действовать, это и есть саботаж. У родителей заботы, но каштаны в парке Боргезе важнее всех папиных забот. Как бы это объяснить?

Вот замечательное стихотворение, принадлежащее великому поэту:

На палубе работают матросы,
Над морем пролетают альбатросы.

У печки погибают кочегары,
В прохладе нежатся ленивые гагары.

Как пароходу минуть мины,
Вокруг которых плещутся дельфины?

Сам капитан в бинокль глядит
И видит в море рыбу-кит.

Киту привольно и отрадно,
А капитану так досадно:

Что море дремлет, солнце блещет,
Но в лихорадке флаг трепещет.

После такого стихотворения, кажется, уже ничего не надо объяснять. Вы понимаете, читатель? Не нужно быть капитаном, не нужно быть папой, а нужно быть китом, гагарой. Не нужно быть кочегаром, нужно быть альбатросом. Почаще.

Это очень правильно: сидеть в парке и смотреть по сторонам. Там, на сцене возле старой стены, заиграл духовой оркестр. Мы переместились туда.

Там сидела эта старуха. Под холодным пальтишком. Она сжимала сумочку в пальцах, как реликвию. Она имела глаза, как у подстреленной лани: взгляд божественный, странно сжимающий горло, взгляд не старухи, а ребёнка — в нём удивленье всегда. Пришла сюда послушать оркестр, громылавший металлом, хоть заёмным геройством волнующий грудь. И жадно слушала песен воинственный гром.

Эта старушка имела могучую солидарность с теми детишками. Она была с ними в заговоре.

То бочком, то вприпрыжку — не желают, а пляшут. У подстреленной лани глаза точно сверла и мерцают, как ночью в канавах вода... Чуждость, чуждость этому подоночному обществу!

Таковы были наши наблюдения в парке. Ещё там была карусель, на которой было как бы написано: poverty and abandonment to pure happiness.

Так что в этом парке было всё-всё-всё, и можно было надеяться даже, что где-то поблизости, где-то в деревьях, бродит с хлыстом Настасья Филипповна и тоже слушает звуки оркестра и думает о чём-то важном и дерзком.

19-е откровение: рим ночью

Старушечья квартира, в которой мы жили, располагалась для нас довольно удобно. Ватиканская стена напротив — интересная плоскость. В первый же день мы стали подумывать о фреске — всё-таки Сикстинская капелла рядом. Но мы не гнались за славой Микеланджело. Мы просто любили рисовать на стенах с детства.

Ночи в Риме тёмные, но прозрачные. Жить ночью — это второе существование, во всём отличное от дневного. Днём вы показываете своё лицо прохожим, вы выставляетесь людям напоказ, вы специально отличаетесь от них, чтобы им стало странно и дико. Но ночью, ночью... Вы превращаетесь в тень, в тень от дерева, в тень от статуи... Единственная разница — вы движетесь. И творите то, что может сотворить ветка, а не человек.

Первой нашей фреской на Ватиканской стене стала гигантская голая баба. Михаил Ларионов умел рисовать плебейских Венер. Мы тоже

сумели. Мы нарисовали её вприсядку, испускающей мочу из вульвы и сжимающей в зубах лезвие шпаги. А из уха у неё выходил пузырь с надписью: “Merda”. Огромный длинный пузырь, напоминающий огурец или фаллос. Merda!

Рисовать на стенах ночью — несравнимое ни с чем наслаждение. Это ведьмовская, шаманская профанация. Это занятие плебеев и истинных художников из сортира. Бешенство, в которое приходят дневные хозяева Рима при виде этого кошунства, — лучшая награда, которую может получить художник. Нашу Венеру они стёрли на следующее же утро. Never mind! Истинно прекрасное всегда мимолётно и странно преходяще. Но всё же одну ночь мы были властителями Ватиканской горы.

Потом мы переместили ночную деятельность на каменные стены Тибра. Мы почувствовали себя пещерными мастерами. Пикассо никогда не знал такого блаженства. Однажды, сидя в кафе, он стал разрисовывать набалдашник трости Дягилева. Разве может это сравниться с

потаёнными изуверствами линий и пятен, затеянными нами в Риме под его чудовищными мостами? Мы рисовали и писали — и вернулись к тому великому состоянию, когда писать и рисовать — это одно и то же. Залить эту жажду изображать невозможно. Но истинное искусство — всегда запрещённое, так что нужно очень извернуться, чтобы достичь его.

Наши драгоценные росписи чаще всего исчезали на следующий же день. Службы уничтожения прекрасного работают в Риме исправно. Они закрашивали наши рисунки краской, подходящей под цвет камней, на которых мы живописали. Но мы рисовали снова — на зданиях, стенах, руинах... Весь Рим стал нашей любимой стеной, готовой ночью для росписи. О, Пьеро делла Франческа! Ночь за ночью двигались мы к бессмертию, а утром дураки уничтожали красоту, вернее, её следы, чтобы никто не подсмотрел и не вдохновился.

Потом в одно дождливое утро мы остановились, решили — хватит. Подумали, что у нас на хвосте висят шавки. И перестали рисовать.

Как же мало нужно для радости и победы — только жизнью не дорожить. Жизнью — всё равно уже пропащей.

Да почему же счастья не попытаться, а, читатель? Особенно когда вам уже за шестьдесят, когда уже нечего бояться? Где же он, этот порыв? Почему его так мало видно? Почему с годами ожог души переходит в тленье, и втягивается человек в дурацкую упряжку, и, вместо того чтобы писать на всех стенах каракули, тикает что-то там на своём компьютере в своей дыре, в своём застенке? Вместо того чтобы петь в рощах, кукует, как кукушка в стенных часах. А ведь кукушка кукует о смерти, кукушка-то. Ку-ку-ку-ку-ку-ку...

20-е откровение: жизнь

Так вот: смерть и жизнь...

О чём же ещё говорить? Об искусстве? Ох уж нет — с ним всё ясно... Последняя битва не об этом — она о жизни, о существовании. Говорить нужно о самом важном.

Жизнь как произведение искусства. Это как тема школьного сочинения. Об этом вроде думали все: древние философы, поэты, Уильям Блейк, Мишель Фуко, Антонен Арто... Агамбен тоже... У всех у них были свои углы рассуждений. Но ведь фундаментом является то, что жизнь как произведение искусства начинается с бунта. И в бунте продолжается. Тут нужно подумать о Варламе Шаламове. Его судьба бросила в лагерь, но он всегда знал, что только бунт, только восстание важно. Опыт лагеря, то есть опыт самого последнего унижения, и опыт бунта — вот по какой проволоке, вот между какими точками он прошёл. Поэтому такое у нас к нему уважение.

Раньше была судьба. Судьба была написана на звёздах. Так писал Беньямин. Были ещё ха-

рактеры. Это уже не судьба, а маски. Над ними можно хохотать или плакать: Плюшкин, Тартюф. Но потом ничего не осталось ни от того, ни от другого. Осталось то, что открыл Чехов: ничтожество жизни, её провал. И этот провал тянется, тянется... А сейчас уже только осталась мировая мелкая буржуазия и жизнь, контролируемая властью — и только. Контроль, планетарный Освенцим! Аппараты, которые контролируют, Агамбен называет их после Фуко диспозитивами. Диспозитивы — язык, мобильные телефоны, фабрики, профессии, тюрьмы, исповедь, юридические меры, литература, сигареты, философия, морской флот, женитьба, экономика, квартиры, алфавит... Диспозитивы — это то, что может определять, захватывать, ограничивать, формировать, контролировать и обеспечивать жесты, поведение, речи и мнения живых существ. Нужна рукопашная ежедневная борьба с диспозитивами. Эта борьба сейчас и будет произведением искусства как жизнью.

Что лежит в основе бунта, в основе рукопашного боя? Не самопожертвование, а изысканное

забвение себя как личности, субъекта и идентичности. К дьяволу эту мизерность! Всё, что важно для этого общества, — признание, успех, «талант», последовательность, умелость, разумность, «порядочность»... Нужна какая-то смелость. Чтобы они, эти «суки», как говорил Шаламов, не могли тебя вовсе признать. Даже чтобы Агамбен не мог признать. Нужна анонимность, конечно. Но нужен и скандал, открытый скандал. Но нужна и организация, чтобы продержаться. В общем, нужно очень тонко пройти по проволоке, чтобы не упасть в толпу сук, чтобы суки не разорвали или не сделали себе подобным. Ничего тут лучше не можем посоветовать, чем читать рассказ Шаламова «Белка».

В этом рассказе описано, как белка пытается пробежать из леса через город снова в лес. И как толпа людей замечает её и гонится за ней, чтобы прикончить. А белка должна лететь с ветки на ветку, должна рассчитывать свой вес. Белка была и белкой и птицей. Но всё же птицей она не была, понимаете? Зов земли, груз земли, стопудовый свой вес

белка чувствовала поминутно, чуть начинали слабеть мышцы дерева и ветка начинала сгибаться под телом белки. Нужно было набирать силы, вызывать откуда-то изнутри тела новые мощи, чтобы вновь прыгнуть на ветку, а не упасть на землю и никогда не подняться к зелени крон.

Щуря свои узкие глаза, белка прыгала, цеплялась за ветки, раскачивалась, примерялась, а за ней бежала бешеная толпа людей, чтобы убить: «Ударь, дяденька, ударь!»

Белка спешила, давно разгадав этот рёв, эту сучью охоту.

Надо было спускаться, карабкаться вверх, выбирать сук, ветку, размеривать полёт, раскачаться на весу, лететь...

Белка разглядывала людей, а люди — белку. Люди следили за её бегом, за её полётом, толпа опытных привычных убийц.

Люди орали: «Бессмертная, сволочь! Окружай её, окружай!»

Белка уже бежала сквозь людей, город наступал, а лес не наступал, не скрывал.

В рассказе Шаламова они убивают белку, эту божественную мошонку, которая хотела пробежать из леса через город снова в лес.

А ведь эта белка не бунтовала, не сопротивлялась, она просто хотела пролететь своей тропой, своей дорожкой в лес, куда ей хотелось. То есть машины эти — диспозитивы — не только бунт хотят искоренить раз и навсегда, но даже просто всякое поползновение на свой путь, на свою форму жизни, на свой полёт хотят уничтожить и убить. Вот почему рукопашный бой необходимо нужен с диспозитивами. Ежедневно.

21-е откровение: ритуал

Они хотят, чтобы мы отказались от всех наших интуиций, чтобы мы похерили все наши озарения, забыли все наши мысли, отвернулись от всех наших инстинктов. Нет. Не будет этого.

Наоборот.

Мы специально станем пробегать из леса через их город. Ради своего удовольствия. Ради риска. Ради смеха. Ради храбрости. То, что белка в шаламовском рассказе делала просто так, мы будем делать как ритуал. Чтобы освободить себя и город. Чтобы не стало разницы между городом и лесом. Чтобы лес вошёл в город, как это подобает лесу в пост-мессианское время. Кайрос! Кайрос!

Итак, необходим ритуал. Ритуал белки. Ритуал лягушки. Ритуал пони. Пони с непослушной чёлкой на лбу, с непослушными прекрасными глазами, с ужасными жёлтыми зубами, который то пустится в галоп, то встанет как вкопанный, вопреки всем приказам и понуканиям.

Ритуал. Ритуал неповиновения.

Речь, разумеется, не идёт о священнодействии. Наоборот — о профанации, Агамбен безусловно прав. Нужен смехотворный материалистический ритуал, утверждающий неповиновение и отъявленную непослушность в эпоху самого трусливого и послушного человечества.

Отстоять себя (да и какого себя?) в этом человечестве невозможно, думать, что ты подорвёшь систему изнутри — глупо, а умереть — успеем. Что же остаётся? Вырваться в ритуал, в простор здесь-и-сейчас, где рушатся позорные законы диспозитивов и открывается настоящий взрывающийся попкорн дерзости. Вне себя.

Ритуал нужно изобретать, тут мы вам, читатель, не дадим готовых решений. Сами раскиньте мозгами, вспомните, опомнитесь.

Ритуал делает что? Выбрасывает вас за пределы вашей постылой биографии, превращает вас в маску, в бога, в зверя, в вольную вещь. Прочь из экономики, прочь из языка, прочь из данных условий. Вы протягиваете руку древним, вы обнимаетесь с побеждёнными, вы делаете их по-

бедителями, вы читаете то, что никогда не было написано, вы прыгаете через гигантский костёр. Иногда перевернуть мусорный бак — это ритуал, но не всегда. Иногда плюнуть — это ритуал, но нужно сделать плевков ритуально. В Париже был кудрявый велосипедист, объезжающий Сен-Жермен-де-Пре и кричащий со своего седла, как баран, — это был ритуал. Но нужно это суметь, не всякий сможет. Нужны блеск, отвага, бесшабашность, мысль.

Что нужно для ритуала?

Заинтересованность белки в беге и лесе. То, что именуется бескорыстием, то есть приверженность отливам и приливам. Что для этого нужно? Знания? Искусство? Наука? Нет, нет и нет. Не из искусства приобретается бескорыстие. Но настоящее искусство может ему научить. Только не нужно для этого становится художником. Не профессия, не талант дают бесшабашность, то есть ход к ритуалу.

Полжизни мы наблюдали раболепство, пресмыкательство, трусость художников и писателей.

Профанный ритуал — это опасная игра с вещами, которые уже лишились своего прямого назначения. Которые стали товаром. Это игра с идеями, которые выскочили из своего прямого контекста. Как говорил Фуко: я даю вам концепты, орудия, мысли, но это не моё дело, как вы их используете.

Ибо что такое коммунизм? Коммунизм есть благотворный хаос.

Ритуал делает живым сейчас, в момент его осуществления, то, что считается кретинизмом, а на самом деле то, что запрещено к жизни. Ритуал — это акт поминовения, это вспышка памяти к истокам, это оживление того, что было лживо провозглашено мёртвым.

22-е откровение: рекорд нежности

Сначала мы ели в Риме пасту, а после перешли на сыр. Сыр можно воровать в карманы — дорогой вкусный сыр. Мы предпочитали пармезан, пекорино романо, скаморцу, бель паэзе, горгонзолу. Вообще, мы пристрастились к копчёным сырам и красному вину. Там был один деликатесный магазин, где можно было утащить бутылку за тридцать монет. Магазин в Прати. Это такой район, где дома как в Чикаго или в Москве.

Вечером мы попали на открытие выставки в некую галерею. Стены там были покрыты обоями, на обоях — оружие разных эпох. Выставку сделал некий шотландский художник, так они сказали. Мы подошли к этому художнику и прямо заявили, что мы — русские футуристы-анахронисты. Он об этом ничего не слышал. Тогда мы ему рассказали такую историю:

— В Москве на Тверской есть памятник Пушкину. Туда любил приходить великий русский футурист Давид Бурлюк. Он приходил туда,

чтобы грозить Пушкину кулаком, потому что Пушкин однажды его изнасиловал, после чего Бурлюк забеременел. И вот однажды брюхатый Бурлюк приходит к памятнику и, как всегда, грозит бронзовому Пушкину кулаком и ругается матом. Но Пушкин в этот раз не выдержал и соскочил с пьедестала, потому что не выносил, когда его оскорбляли. Пушкин подскочил к Бурлюку и пнул его ногой в живот. Бурлюк тут же повалился навзничь и родил ребёнка. Этот ребёнок был недоносок, но очень живой и горластый. Его звали Игорь Терентьев. Игорь Терентьев был очень недоволен тем, как Пушкин и Бурлюк, то есть мать и отец, с ним обращались. Поэтому он вообще отказался говорить и писать на русском языке. Он решил, что с этим покончено, что этого и так уже чересчур. Он заявил, что все писатели — грубияны и не умеют обращаться с детьми, которые единственно достойны внимания, ибо все дети — гении, за исключением Мину Друэ. Поэтому, сказал Терентьев, не нужно больше писать, а нужно только поставить рекорд нежности. Это детям понра-

вится. И Терентьев тут же приступил к выполнению своего намерения, то есть к осуществлению рекорда нежности, хотя это было и трудно.

Тут мы замолчали и посмотрели на шотландского художника с судорожной улыбкой.

Он спросил:

— А что это такое — рекорд нежности?

Тут мы уже не стали ничего объяснять и рассказывать, а просто стали показывать. Мы начали обнимать и целовать шотландского художника и даже сами стали раздеваться, ибо какой же рекорд нежности, когда на вас надето столько одежды? Мы и его попытались немножко раздеть. И тут на нас все стали орать.

Там были какие-то пожилые дамы, которые обычно напиваются на римских вернисажах до положенья риз. Но здесь они бросили свои стаканчики и кинулись на нас, чтобы защитить шотландца. Впрочем, ему ничто не угрожало. Мы его просто немного хотели растормошить, раззадорить, позабавить и даже в самом деле понежничать. Но не тут-то было. Все нас стали оттаскивать от художника, как будто это мы вы-

ставили здесь обои с оружием, а он проповедовал максимальную нежность. А ведь всё было наоборот. Но толпа не разбиралась, а грубо тащила нас из галереи. Тут же к нам подошёл и её владелец — плотный и потный господин с возмущённой ряхой. Он сказал:

— А, это те. Те самые. Так вот, убирайтесь отсюда немедленно. Немедленно, слышите?! Вы!

— А то что будет? — спросили мы.

— А то? — сощурился галерист. — А то вам будет очень плохо. А то я вас просто убью. Слышите, убью?! Убью!

И тут мы посмотрели на него внимательно, и нам показалось, что действительно этот человек может и хочет нас убить, хотя мы не желали ничего другого, кроме как продемонстрировать ему и всем остальным рекорд нежности.

Но эти люди, по-видимому, ничего такого не хотели и знать.

23-е откровение: птицы

В тот день весь Рим задрал голову вверх и уставился в небо. Впрочем, это не помешало им заниматься своими глупыми делами. Как всегда.

Дело в том, что в этот день небо Рима наполнили стаи птиц. Невероятные, удивительные стаи, подобные клубящимся и моментально меняющим свою форму облакам. Эти стаи — две, три за раз — проделывали какие-то чудеса, создавая фигуры, скульптурные формы, объёмы, и тут же, в мгновение ока, разрушая их, чтобы сразу создать и разрушить новые. Птицы носились и клубились довольно высоко, и было невозможно понять, что это за птицы. Может быть, обычные воробьи, но в огромных количествах и словно сошедшие с ума. А может быть, и какие-то другие птицы.

Мы увидели их в небе над Пантеоном и были поражены этим зрелищем. Формы, которые принимали стаи, что-то оглушительно напомнили нам. Сначала мы не поняли, что же это было, что показывали нам эти птицы, мечущи-

еся в высоте. Потом мы догадались и остолбенели.

Повторяем, в небе было одновременно двести три большущих стаи. Каждая из них показывала своё, творила собственные метаморфозы. Но, казалось, была в этих превращениях некая последовательность, некий фантастический замысел. Или всё это только игра нашего воображения?

Вот стая над нашими головами приняла на миг образ человека, несущего на своих плечах другого человека. И нас почему-то осенило: да это Эней, посадивший на себя своего измождённого отца... Но тут же стая разрушила созданный мираж, чтобы превратиться в новую угловато-округлую форму. Да это была Капитолийская волчица, выкормившая Ромула и Рема! Потом волчица развалилась в ужасающем вертиго, и мы увидели коня Калигулы — коня, которого он ввёл в сенат! Мы ничего не придумываем. Так всё и было. Затем мы узрели чудовищный фаллос — тот самый уд, который Гелиогабал вкатил в Рим, вернее, его вкатили юные девы,

запряженные в этот член, как бурлаки в баржу на Волге. Была там ещё одна фигура, о которой мы забыли упомянуть: лира, на которой играл Нерон во время пожара. Потом мы узрели чело знаменитого Марка Аврелия и ступню не менее знаменитого гунна. И ещё, и ещё... Какие-то коронованные бабы с остроконечными сосками, словно нос Пиноккио. А вот просто: шлем легионера. А вот — совсем другая история! — мускулистая выпуклая спина счастливого вольноотпущенника. Чаши, чаши!! Вскоре мы уже увидели папу Александра, берущего Лукрецию в той позе, которую предпочитают псы. И были ещё повешенные, болтающиеся на виселице... помните рисунок Пизанелло? И были клубящиеся темницы Пиранези, а между ними, как вспышка, младенческий лоб то ли Агамбена, то ли Эйзенштейна. И Нос Гоголя, Нос Гоголя, исчезнувший из Петербурга, прочь, прочь от снегов и подлецов, в солнечный Рим, где поэт Вячеслав Иванов заперся в Ватиканской библиотеке от лысого Бенито: «Власть отвратительна, как руки брадобрея». Забыть этот блеск,

эти снега, этих подлецов — в небо Рима, в небе Рима. И потом, в конце, там были голые девочки и мальчики — должно быть, из республики Сало, и был сам Пьер-Паоло Пазолини, тоже голый, но в фартуке Джотто, Джотто смеющегося. Пазолини, позволь ухватиться за твой фартук!

А потом всё исчезло. Стаи бросились куда-то в сторону, словно были они не стаи, а сам ветер-метеор, могучий поток, река в небе, река, вышедшая из берегов, «миловзоры, миловзоры!», река, как жизнь, которую исчисляют не годами, которая течёт, как волны рек, и в них с лучезарными глазами плывёт бесстрашный человек...

Да, вдруг всё кончилось. И осталась вокруг только одна планетарная мелкая буржуазия.

24-е откровение: встреча

Что делает жизнь возможной?

Встречи.

И они же делают её невозможной.

Мы встретили Моцареллу ди Буфало и Рикотто аль Форно на улице. На виа дель Корсо. Они просто подошли к нам и сказали:

— Buon giorno! Мы вас знаем.

— Знаете? — удивились мы.

— Про вас говорят, что вы всюду оставляете своё говно, — сказала Моцарелла.

— Даже в Musei Vaticani, — подтвердил Рикотто.

Нам всем стало весело.

— You are the talk of the town, — хохоча, пролепетала Моцарелла. — Bastardi!

— Cazzo, — сказал Рикотто. — Vaf fanculo!

— Volete mangiare? — спросила Моцарелла.

И мы пошли есть пиццу в одно место, где она стоила дешёво и была хороша.

— Хотите сегодня ночью поиграть? — сказал Рикотто, приложившись к пиву. — Можем сделать кое-что покруче, чем Merda.

Наши ушки были тут же на макушке.

— Завтра на пьядца дель Пополо будет левый митинг, — усмехнулась Моцарелла. — Прогрессивные силы в борьбе за перемены и прогресс. А на самом деле предатели, ренегаты, обманщики, трусы, глупцы, скоты, демагоги, болтуны, ничтожества, функционеры, парламентская шваль, мещане, добропорядочные обыватели, полицаи, деяги, газетчики, купчишки, мокрицы, перекрашенные консерваторы, домохозяйки, патриоты, ретрограды, защитники законов и собственности, профессора, активисты, болваны, чиновники, граждане, просто кретины, карабинеры без карабинов и так далее.

— Culo, — мрачно подтвердил Рикотто, глядя в пустую тарелку.

— Ну что, согласны? — пронзительно посмотрела Моцарелла.

Мы в восторге закивали головами. Наши новые друзья нам страшно нравились, и мы ощущали себя молокососами рядом с ними.

Моцарелла была девушка лет пятнадцатидвадцати пяти. С ног до головы покрыта вес-

нушками. Это можно было разглядеть, поскольку она носила платье, практически состоящее из одних дыр. Под платьем ничего не было, кроме тела акробатки. Две части торса Моцареллы выделялись самостоятельно и жили жизнью восхитительных бесноватых бестий — сами знаете какие. Соски торчали в разные стороны с наглостью собачьих залуп. Под мышками кустились чрезвычайно жёсткие и неприличные волосы. Ногти были грязны, как у архангела, совершившего набег на ад. Она была поэт без пищащей машинки. Ибо что такое поэт? Некто, решившийся разломать стену, отделяющую Рай от Ада.

Рикотто был кудрявым мужиком лет сорока трёх. Верхняя часть его тела была тяжела, как наковальня. Но нижняя часть, то есть ноги и зад, были как у восемнадцатилетней пигалицы, раз и навсегда отделившейся от детского жирка. Нос его был распластан по всему лицу, которое так и не отделилось от подростковых прыщей. Глаза запали в глубоких орангутанговых дугах. А лоб был какой-то дикой и несовременной леп-

ки. Он был философ без системы. Ибо что такое философ? Некто, обмысливший формы жизни и творящий их в самом себе.

Моцарелла имела с собой синий большой пластмассовый ящик с инструментами фирмы “Bosch”.

— Значит так, — сказала он. — Сегодня на пьядца дель Пополо они сколачивают огромную трибуну для митинга, который должен пройти под лозунгом «Всё прогрессивное человечество — вместе и вперёд!». Наша задача — разочаровать эти прогрессивные силы, а некоторые их этих сил даже взбесить. И тут говном не обойдётся. Нужна более неукротимая стихия, которая может распоясаться не на шутку.

После этого замечания мы все пошли на пьядца дель Пополо и осмотрели место действия. Действительно, они там возводили внушительную трибуну, и места для гостей, и какие-то украшения, и разные лозунги, и всё это выглядело как чушь собачья. Моцарелла была на сто процентов права.

Остаток дня мы провели в доме Рикотто и Моцареллы. Этот дом они построили два дня

назад в одном укромном переулке, в тенистом тупичке. Дом был сделан из картонных коробок, скреплённых клейкой лентой. Внутри дома был раскинут старинный ковёр, на котором мы и расположились. Пили вино и вели беседу о философии, свободе, интенсивности. Интенсивность, сказал Рикотто, это и есть философия на свободе. Но философия, возразила Моцарелла, недостаточна, потому что нужна мудрость. О Джорджио Агамбене они нам сказали, что это очень хороший землемер, который может с точностью до сантиметра измерить расстояние до истины. Но сами они интересовались прежде всего практикой, действием, осуществлением вещей.

В час ночи мы отправились пешком на площадь дель Пополо. Это у нас заняло сорок минут. Площадь была пуста, но на ступеньках грязного кафедрала сидели американские туристы и громко болтали. Тогда Моцарелла подошла к ним, подняла своё рваное платье и показала анус, подобный аленькому цветочку из русской сказки. Американские туристы ничего не поня-

ли, испугались и решили немедленно оставить площадь. Кажется, они сообразили, что мы — опасные проходимцы и попрошайки.

Наконец-то мы остались одни.

Ровно в три часа ночи на пьядца дель Пополо поднялся ветер, страшный ветер, настоящий шторм, ураган.

— Сейчас или никогда! — закричала Моцарелла. — Мы или никто!

Она бросилась к сооружениям, приготовленным для митинга, и в мгновение ока извлекла из ящика “Bosch” необходимые инструменты. Сначала она орудовала ими на трибуне, потом перешла к конструкциям, державшим стулья для гостей. Это были стулья в пять-шесть рядов по обе стороны трибуны. Рикотто ей помогал и ассистировал. Мы следили, чтобы никто не появился на площади. Ещё мы всячески болели за них.

25-е откровение: дружба

На следующий день во всех римских газетах было написано, что митинг провалился. Да-да, буквально. Провалился, потому что когда ораторы и гости взошли на трибуну и сели на стулья, то вся конструкция рухнула. Двое или трое участников были сильно поцарапаны. Конструкция рухнула, и ничего удивительного в этом не заключалось, ибо все гвозди из этой конструкции были изъяты заранее. Инструменты из синего ящика “Bosch” сделали своё дело.

Мы спросили Моцареллу, о какой мощной стихии посильнее говна она упомянула прошлой ночью.

— Как? — удивилась она. — Вы не поняли? Это — воздух.

То есть она имела в виду, что без гвоздей конструкция грянет в воздух. Так оно и случилось.

Весь следующий день и ночь мы провели в старушечьей квартире возле Ватиканских музеев. Мы ели пасту в форме ракушек и пили стаканами кьянти. Так началась наша дружба.

О дружбе очень хорошо написал Джорджио Агамбен. Он выступил против Жака Деррида, у которого тоже есть книга о дружбе. У Агамбена это не книга, а маленькое эссе. Там сказано, что настоящая дружба всегда образуется под скрещёнными мечами власти. То есть дружба никогда не нейтральна, а всегда направлена против власти, сопротивляется ей, вступает в заговор против механизмов власти. Дружба — это объятие под клинками легионеров, объятие Петра и Павла, апостолов мессии.

Дружба — ослепительно яркое и в то же время ночное явление. Вспышка молнии, которая освещает тьму бытия. Через два дня после встречи с Моцареллой и Рикотто наша новорожденная дружба с ними выбила нас из старушечьей квартиры. Мы поняли, что живём в позорно-комфортабельных условиях. Нам стало противно. Хотя оставалось ещё три дня до окончания контракта, мы переселились в картонный дом наших новых товарищей. Это было начало чего-то особенного, божественного.

Моцарелла научила нас пускать огонь изо рта. Собственно говоря, этим она зарабатывала на жизнь. Каждый вечер Моцарелла пускала пламя из глотки перед ресторанчиками и кафе в Трастевере. Туристы бросали монеты и аплодировали. Рикотто же ходил на руках, держа шапку для денег пальцами ног. Мы тоже начали подрабатывать этим путём.

Но уже на третий день случился инцидент. От неумелости мы выбросили пламя слишком далеко и подожгли салфетку на одном из столов. Начался страшный переполох. Мы еле унесли ноги, забежав в музей Бонапарта.

В картонной коробке, установленной во двореке неподалёку от площади Испании, мы вели длинные разговоры о способах жизни.

— Ходить нужно только босиком, — сказала Моцарелла. — Волосы тоже не нужно стричь и брить нигде. Нужно, чтобы самый твой вид вызывал ужас у этих волкодавов.

Вчетвером мы стали ходить по Риму босиком, с расстёгнутыми ширинками, специально порванными на заду штанами. Мы показывали

анусы и члены в магазинах и парикмахерских, а в соборах громко мычали. Говорили мы между собой только на смеси разных языков, чтобы разрушить когерентность речи. Пили мочу друг друга, чтобы сблизиться. Спали мы вповалку, ели из одного блюда. Всё перемешалось, всё стало общим: волосы, идеи, поступки, пот, пальцы, зубы. Постепенно исчезало постылое понятие «они». Исчезало и «мы». «Я» давно испарилось, конечно. Мы научились вести беседы с цикадами, пауками, окнами зданий, водой в реке Тибр, травками. В нашей картонной коробке жили уже не Моцарелла, мы, Рикотто, а дочь Чингиз-хана, Большая Медведица, выпь, гололедица, Кантута Поломарис, индюшка Оливейрос, старуха Кики, сирены... Мы делали самые неприличные татуировки на свете, делали на чём попало, между пальцами, ягодицами, в носу, в ушах... Но главное было не это, а это было походя, между прочим, как у других мечты: но мы в мечту переправлялись вплавь каждую божью ночь...

...И вот мы уже на том берегу. Здесь сразу всё по-иному. Растёт только трава по пояс да изум-

рудные пушистые лопухи. Тропинка такая узкая, что можно идти только по одиночке.

Непонятный речной запах хватает за горло. То ли от влажного глубокого песка, то ли от бесконечных хрустящих под ступнями раковин хочется хохотать. Если кто идёт впереди, пригнёт опасную ветвь и отпустит её, она больно ударит вас по лицу, но сердиться и нервничать глупо, не на кого. Разве можно сердиться на Уробороса?

Соловей поёт. И каждый слушающий его вдруг понимает, что стоило прожить тяжёлую изматывающую жизнь только для того, чтобы услышать его теперь.

Вот ветка опять ударила по морде. Если она хлестнула Моцареллу, то Моцарелла просто улыбнётся. Если она ударила Рикотто, то Рикотто вскрикнет: «Ой!» А когда придержишь рукой острый пруттик и присмотришься к нему, то увидишь, что он весь покрыт нежной пыльцой, как крылья бабочки. Если отпустишь его, останется на нём блестящий след от пальцев и станет не то дико, не то дивно, потому что нарушил девственную плеву природы.

Между нами, конечно, завязался невозможный разговор. Моцарелла утверждает, что никакой правды не существует, что её поиски — наследие метафизики и противоречат абсолютной имманентности.

— А как же наши действия? — возражает Рикотто. — Разве мы не стремимся к правде? А действия партизан? А действия восставших рабов Спартака?

— Ишь, сакраменто! — смеётся Моцарелла. — Есть рабы, которые живут в пресной воде, а есть, которые живут в солёной! Понимаешь?

— Вот уж объяснила! — хохочет Рикотто. — Есть и такие, которые и в пресной, и в солёной воде живут, — угри, например.

— Так как же? — напряжённо настаиваем мы. — Всё-таки?

Моцарелла, оторвав кусок от лопуха и положив его на язык, отвечает:

— Есть много оснований предполагать, что правда была выдумкой жрецов.

Рикотто вдруг задумывается и задаёт вопрос самому себе:

— А какая у меня правда?

— А! Вот видишь! — восклицает Моцарелла, вся просияв.

— Какими только словами не забита голова, — бурчит себе под нос Рикотто.

— Расскажи нам что-нибудь из своей личной жизни, — предлагает Моцарелла.

И мы все принимаемся хохотать.

В это время прутья перед глазами начинают редеть, тропинка становится шире. Плечи жёлтого песка делаются всё больше и больше. Дует какой-то новый — тёплый и продуманный — ветер. Мы выходим на открытое место к высокому зданию. Сумерки, луна, туман.

О, как изогнута эта колоннада! О, какой безжалостный, всё небо в себя вбирающий купол! И эти трагедийные розы в жирном гриме, цветущие перед ступенями, выщербленными, но начищенными, сверкающими. О, как тяжелы человеческие культы! О!

Моцарелла смеётся, Рикотто немного смущён. И всё же это он достаёт из кармана коробок со спичками, а из коробка — маленькую

шершавую палочку с серной головкой. Мы все смотрим на неё.

— Ну, — говорит Моцарелла, зачем-то подняв обе руки и показывая волосы под мышками, — ну, чиркай. Или есть какие-то сомнения?

Рикотто медленно качает головой: сомнений нет. Моцарелла торжествует. Спичка-красавица вспыхивает в руке Рикотто. Горит.

И вот уже там, где была эта подавляющая колоннада, только недавно была, только сейчас, там уже распускается во весь свой цвет, во всю мощь, третья стихия — после говна, после воздуха третья.

И вот уже купол, укравший небо, скрывается в этой стихии, она пожирает его. Освобождайся, небо! И оно, да, освобождается, на наших глазах. Сколько звёзд везде! А стихия бушует, владевает, свирепеет. Сначала она издаёт странные звуки, которые можно услышать у себя дома, когда весною протирают тряпкой раскрытые окна. Но потом эти звуки переходят в гул, сначала неровный, немножко нервный, и потом всё более убедительный, спокойный, уве-

ренный. И тускнеют, скукоживаются трагедийные розы, а жирный их грим, став на мгновение совсем жирным, распадается в прах.

О, Герострат, Герострат, зачем ты оставил нам своё имя?!

26-е откровение: волчица

Мы жили в нашей коробке, перемещаясь по всему городу. Скучно было оставаться надолго в одном переулке. Мы находили новые садики, новые тупички и ставили там свою кибитку. Сразу после этого следовал пир и новые походы в окрестностях. Мы узнали весь Рим: Palatino, Capitolino, Aventino, Esquilino, Testaccio, Viminale, Quirinale, Gianicolo, Salario, Nomentano.

В коробке мы говорили только о самом важном — это было условие. Моцарелла начинала:

— Я не желаю жить долго. Сделаю свои дела и уйду. Зачем мне жить столько, сколько какой-нибудь Ренуар, Джорджио де Кирико или Виктор Шкловский.

— А ведь было бы неплохо и в глубокой старости атаковать и делать шалости, — возразили мы. — Такие дерзкие действия изменили бы самое значение старости.

— У вас у всех мозги навыворот, — заключил Рикотто. — Жизнь хороша тогда, когда она знает

ничего не хочет о возрасте, о времени. Когда жизнь сама по себе, а время само по себе.

— Жизнь есть ускользящее, — твёрдо сказала Моцарелла. — Но человек не сможет даже ощутить и помыслить это ускользящее, пока пробавляется голым наличием своей эпохи. Смешанное из малодушия и заносчивости бегство в наличное не способно ни к чему, кроме страусиной слепоты перед историческим моментом. Нужно выявлять скрытое, неподрачённое, древнее. Нужно не ослепляться звёздами настоящего, а вглядываться во тьму веков. Там таятся залежи бунтующей радости.

— Страус вовсе не глупая птица, — вскинулся Рикотто, — он все тайны в пустыне познал. Он головой в горячий песок зарывается так, как это бы сделал мудрейший пророк. То, что показывает страус, — это соединение вопрошания с выдвинутостью в ужас.

— Да, — поддержали мы. — Исходный ужас может проснуться в любой момент, если ты не полный кретин. Ужас всегда сопутствует настоящему дерзанию. Этот ужас находится в союзе

с окрылённостью и храбростью. Сквозное дыхание ужаса веет в потрясённом и дерзком бытии. Это бытие осуществляется, когда оно себя растрчивает, чтобы сохранить своё последнее величие в диких поступках. Как у палестинцев!

Мы выпили немного вина из бутылки и Рикотто заметил:

— Дерзко жить без холодильника.

Мы расхохотались.

— Послушайте, — сказала Моцарелла. — У меня есть неплохая идея. Нам нужно похитить Капитолийскую волчицу.

— Вот это да! — воскликнули мы.

— Эта волчица, — продолжила Моцарелла, — есть не что иное, как символ питания власти. Волчица кормит своими сосцами власть, Рим, страну, государство, машину. Я слышала интересные рассказы про эту волчицу. Я слышала, что несколько римских пап сосали её бронзовые сосцы, чтобы стать долгожителями. Я слышала, что то же самое сделал однажды ночью Вячеслав Иванов, когда он был хранителем Ватиканской библиотеки. Я слышала, что и Джорджио

де Кирико тоже сосал однажды волчицу. Кажется, тем же самым занимался тут недавно и этот ничтожный американский урод — Джулиан Шнабель. Волчица стала специальной штучкой для международного истеблишмента. Они тайно посасывают её, чтобы им сопутствовала удача. По-моему, эту волчицу пора спиздить, чтобы они ею не пользовались в своих сраных интересах.

— Великолепно, — сказали мы все. — Просто великолепно.

— У меня есть очень хорошая пилочка, очень специальная пилочка для тюремных решёток, — прошептал Рикотто. — Она нам в этом деле может пригодиться.

— Разумеется, — кивнула Моцарелла. — Нужно будет отпилить волчицу с пьедестала на хуй. Разумеется.

В ту же ночь мы отправились на Капитолийский холм, чтобы снять пресловутую волчицу с её привычного места. Долго при луне мы созерцали конную статую Марка Аврелия, этого стойка, ведшего счёт своим дням и ночам. Мы

всегда любили стойков, этих умных философов, понимавших, что нужно стойко прожить жизнь, а труп бросить собакам, волкам и шакалам. Потом, разделившись на маленькие отряды, мы начали отпиливать Капитолийскую волчицу с пьедестала. Мы, конечно, попотели в ту ночь, ещё как попотели. Руки наши ныли. Но дело стоило того, ещё как стоило. Мы отпилили знаменитую волчицу. И, завернув её в старый спальный мешок, оттащили в наш картонный домик. Bravo! Ромул и Рем остались без кормилицы. Брависсимо!

На следующий день газеты не обмолвились ни словом о происшедшем. Мы, честно говоря, были удивлены. Как же это так? Ведь такое событие!

Вечером мы снова отправились на Капитолийский холм. Каково же было наше потрясение, когда мы обнаружили, что волчица — на своём старом месте!!! Можете себе это представить? Да-да, она была там же! И Ромул с Ремом так же припадали к её сосцам. Тут мы сообразили, в чём, собственно, дело.

Всё — обман. Всё, что связано с властью. Современная власть — сплошное надувательство, грандиозный поганый спектакль, культ, существо и халтура. Дебор был абсолютно прав. Они могут манипулировать всем. Они могут дурачить туристическую публику на все сто процентов. Они могут облапошить всю нынешнюю мировую мелкую буржуазию, и она ничего не заметит. Эти суки на следующее же утро поставили на пьедестал новую Капитолийскую волчицу. Можете назвать её фальшивкой или симулякром. Или туфтой. Или дубликатом. Или двойником, как у Бахтина. В общем, это не так важно. Они просто поставили ещё одну бронзовую волчицу, чтобы никто ничего не заметил. No problem. Волчица была там, где ей и полагалось быть. No matter what. Волчица была там, где она была. Волчица, которую мы отпилили и которая лежала в нашем старом спальном мешке. В укромном переулке.

Палестинцы, вы видите? Будьте же начеку!

27-е откровение: пантеоны

Тогда мы решили взорвать Пантеон. Мы рассудили так: хорошо, у них есть несколько Капитолийских волчиц, в сущности, этими волчицами нетрудно запастись, они небольшие, почти как сувениры. Но есть ли у них в запасе несколько Пантеонов?

Пантеон в Риме — это не то, что Пантеон в Париже. Пантеон в Париже — халтура, туфта, Pfusch. Пантеон в Риме — отнюдь. В римском Пантеоне вы себя чувствуете, как Мюнхгаузен, летящий на ядре. В римском Пантеоне вы как в палимпсесте Пикабиа. Пикабиа был хороший художник, лучше, чем Пикассо. Из двух Пика мы выбираем биа. Из двух Пантеонов мы выбираем римский. Взорвать этот Пантеон — примерно то же, что разбить вазу, будучи князем Мышкиным. Жалко и одновременно захватывающе, душераздирающе и смехотворно.

Мы пришли туда ночью. Дикое, странное здесь было место, а этой ночью — страшное в

своём безмолвии. Только где-то кричал глухой голос: «Изольда! Изольда!»

— Тишина какая, — сказал Рикотто.

И опять закричали женским голосом: «Тристан! Тристан!»

— Какая же это тишина? Туристы орут, — заметила Моцарелла.

И опять был крик: «Меджнун! Меджнун!»

— Туристы ли? — усомнился Рикотто, прислушиваясь.

И был последний возглас: «Лейла! Лейла!»
А затем снова мёртвая тишина, как в катакомбах после гибели всех ранних мессиянцев.

Рикотто вдруг стал заметно дрожать.

— Ты чего? — спросили мы.

— А вдруг это не туристы, а... — он не закончил.

— А кто? — ухмыльнулась Моцарелла. — Призраки? — и тут же добавила серьёзно: — Пошли. Надо дело делать. Сейчас или никогда. Мы или никто.

Рикотто был тем из нас, кто знал всё о взрывах и взрывчатке чуть ли не с детства. Мы при-

сели возле толстой, ужасно толстой кирпичной стены. Рикотто достал из кармана длинную леску, на неё подвесил какой-то невероятно мощный поплавок и закинул это удилище ловчайшим броском в круглое окно Пантеона. Через мгновение он легко дёрнул леску и, повернувшись к нам с кривою улыбкой, сказал:

— Не сорвётся, не бойтесь.

И Моцарелла тут же ответила:

— А никто и не боится.

И мы все, как по команде, кинулись прочь от чудовищного здания.

Так это было. Будто рыбку ловили. А подробнее не скажем. Знаем, да не скажем. В могилу с собой унесём.

Ну а потом мы услышали грохот. Мы уже тогда пиво пили. Холодное. Очень страшный грохот.

А на следующий день в газетах опять ничего не было. Ни слова о Пантеоне. Мы, конечно, немедленно туда отправились и увидели, что место, где стоял Пантеон, окружено некими заграждениями, брезентами, тканями, а сбоку

табличка: «Пантеон закрыт на три дня в связи с инвентаризацией».

Мы чрезмерно удивляться не стали, но дырку в брезентах сделали и поглядели. От Пантеона остались рожки да ножки. Рикотто не подвёл. Рожки да ножки остались от бывшего Пантеона. Хороша была взрывчаточка.

Через три дня мы, разумеется, туда снова пришли. Брезентов и заграждений уже не было. Пантеон стоял на месте и толпа туристов как всегда мирно штурмовала его. Или, лучше сказать, осаждала.

Вот такой нам был преподнесён урок. Хотите верьте, хотите нет. За три дня они, эти суки, построили новый фальшивый Пантеон. И никто даже не усомнился.

В детстве мы часто слышали в разговорах старших слова, произносимые со вздохом подчинения или с лукавством: «Плетью обуха не перешибёшь». Нам тогда представлялся безразличный ко всему деревянный столб, перед которым мы в раздумье стояли с маленькой плетью. Но теперь такого видения не возникало. Да и

поговорка на язык не лезла. Теперь мы просто переглянулись с Моцареллой и Рикотто и усмехнулись. Просто усмехнулись заговорщицки, как старые друзья под клинками легионеров. Что ж, всё действительно было ясно: взрывчаткой тут не обойдёшься.

Палестинцы, будьте изощрённы и внимательны!

28-е откровение: акация

Рано утром мы проснулись в коробке и выглянули наружу. Солнце было ещё прохладным и мягким, как облако. Было совершенно неясно, что это за время года. Коробка наша стояла в чудесном дворике, слегка засыпанном гравием. Тут находились какие-то ремесленные мастерские, которых в Риме хватает. И это делает его по-хорошему несовременным. Ещё во дворике стояли деревья. Тоже очень хорошая акация, в частности.

На нижней ветке этой акации сидела Моцарелла. Вот она взяла и прыгнула с этой ветки на землю: «хоп!» И тут же снова стала карабкаться на дерево, очень даже ловко. Теперь она уже сидела на более высокой ветке и смотрела вниз. Верным глазом измерила она расстояние, и таинственная великолепная сила распределила по всему телу принятое решение — «хоп!» — и Моцарелла, стукнувшись голыми пятками в земляную пыль, не упавши, приземлилась и улыбнулась себе.

Она посмотрела на окна мастерских, и тихий голос внутри её головы шепнул: «Ну а ещё выше сможешь?» И она сразу полезла на дерево.

Теперь Моцарелла цеплялась за довольно тонкую ветку и примерялась, как бы во время прыжка не зацепиться за нижние сучки. «Гоп!» — сказал опять голос, и она полетела. Приземлившись, вздохнула и посмотрела наверх. Очень даже неплохо.

Но голос внутри не отставал. Он требовал очередного прыжка. Может быть, даже не последнего. Борьба с голосом было бесполезно. Моцарелла полезла на акацию.

— Разобьюсь насмерть или ногу подверну непременно, — сказала она вслух.

Обхватила ствол. Встала на какой-то совсем верхний сучок и осмотрелась. Только не нужно приземляться на гравий. Было очень высоко и страшно. Она прыгнула и схватилась за землю руками. Замечательно.

Но голос не отстал и тут же повелел лезть с акации на крышу — и прыгать оттуда. Последний прыжок, которым она наверняка умиротво-

рит голос и обратит богов в свою пользу. Только вот ладони ссадила, и ноги слегка гудят. И что это за голос приказывает? Ангел-хранитель шалит? Бесы?

Она перепрыгнула с дерева на черепичную крышу мастерской. Очень высоко. Может, всё-таки не прыгать? Совершенно невозможно. Не прыгнуть в тысячу раз страшнее, чем прыгнуть. И не в страхе в конечном итоге дело. Она помедлила. Потом прыгнула.

Грохнувшись наземь, Моцарелла пребольно стукнулась скулами о собственные коленки и, не успев прийти в себя, услышала громкий, отрезвляющий голос Рикотто:

— Ты бы еще с Луны прыгнула, Буратино!

29-е откровение: банкет

В тот же день мы устроили грандиозный банкет. Повода не было — было просто желание.

Внутри коробки висел листок, на котором определялись наши базовые потребности в пище. Выглядело это так:

1. Хорошее оливковое масло.
2. Свежие морковки.
3. Лук. Чеснок.
4. Тхина.
5. Сухие хлебцы.

На самом деле мы готовили разное, многое. Зависело от улова. Но принадлежностей для сложной готовки у нас не было. Туристический примус. Но никто не любил им пользоваться. А кое-кто и не умел.

Но в тот день пир развернулся нешуточный. Явились гости. И они уже сами были безусловным лакомством — для глаза, для слуха, для ума, для обоняния...

Был там великолепный чёрный гигант, словно сошедший со страницы мелвилловского по-

вестования о морях и матросах. Был одет он в гусарскую тужурку, как Джимми Хендрикс, и в старинные кожаные штаны. На шее — шёлковый платок, в ушах — кольца. Он не говорил, только смеялся. С собой привёл он двух чёрных псов, игривых, словно кошки. На плече принёс он наволочку, полную благоухающих козьих сыров. Мускулы играли у него на всём — на скулах, на висках, на пальцах, на всём. И на всё он смотрел одинаково — на людей, на зверей, на растенья, на вещи. С одинаковым весёлым вниманием. Такая вот необыкновенная креатура с фантастическими жестами и умопомрачительной независимостью.

Пришла также старуха на колесообразных ногах, обутых в чрезвычайно щегольские сапожки. Груды её покоились в цветной блузе подобно тяжёлым узбекским дыням, но лицо было маленькое и сморщенное, сплошь изборозждённое глубокими морщинами-складками. Зубов у неё было мало, но энергии — хоть отбавляй. Она притащила с собой большущий ломоть мортаделлы и банку с селёдками в винном соусе.

Она говорила на каком-то странном свистящем языке — языке беззаботных беззубых существ. И с большим удовольствием играла с игривыми собаками.

Пришли ещё два панка обоюдного пола в кожаных платьях и в подчёркнуто грязном виде. Ноги у обоих были волосаты и обуты в изношенные ботинки. Они принесли запылённые бутылки, в которых было очень вкусное вино, лёгкое, как сок. У них были ещё складные ножи, которыми они резали сыры и поедали их с отменным аппетитом. Придя, они сразу легли на гравий и почти не поднимались, как вараны.

Наконец, был человек по имени Ботичелли, имевший только одну ногу и одну руку — обе правые. Вместо левых конечностей у него были протезы. Он принёс блюдо с каким-то очень специальным холодцом, который изготавливают только на Сицилии. Этот человек был татуировщиком и мудрецом. Он жил где-то под Римом в им самим построенном жилище, куда со всего мира стекались ценители высокохудожественной татуировки. Он говорил в специальной

манере, постоянно подчёркивая, что ничто не вечно, даже Вечный город, и, может быть, прежде всего Вечный город. О татуировках он рассуждал как о единственно честном искусстве, которое умирает вместе с татуированным человеком. На одном из панков были образцы его искусства, и они поразили нас абсолютным своеобразием его гения. Он изображал только детей, как Генри Даргер или Гэри Гилмор. Но стиль и выражение были совершенно особенными, будто дети превращались в морские волны, в барашки и гребешки на поверхности мирового Океана.

Кажется, это было воскресенье или какой-то праздник, потому что мастерские во дворе были закрыты и всё пространство оказалось в нашем распоряжении.

Да, была ещё, кстати, белая крыса, которую кто-то принёс в кармане. Она имела длинный розовый и весьма аппетитный хвост и ела сыр тоже с изрядным аппетитом. Она сидела, как и все мы, на потёртом ковре, разостланном под деревьями, и наслаждалась доброй компанией и кушаньями.

Кроме уже перечисленных блюд были поданы маслины чёрные и зелёные, большой каравай хлеба, огурчики солёные, мелкая рыбёшка, некоторые свежие овощи, карчофини, салями, сушки солёные, чернослив средней сухости. Имелась и граппа — спиритуоз отменный и пьющийся с такой же охоткой, как шампанское.

Главным свойством всех этих лакомств было ещё большее разжигание страсти к ним по мере поедания.

Говорили, как и подобает, о главном. В основном речь шла об Эпиктете и вообще о стоиках и стоическом отношении. Поскольку преобладающим мотивом современных людей является завистливость и мелкая ревность, то лучшее излечение от этих психологических черт лежит в стоической мудрости. Так говорили панки. Ботичелли возразил, однако, что стоики уже не помогут. Поздно. Поезд ушёл. Чтение не поможет. Нужно читать то, что существует до языка, до написанного. Нужно читать то, что первобытные охотники читали в молчании зверей. Он поднял палец своей единственной руки и

показал куда-то на акацию, с которой прыгала Моцарелла. Он вспомнил вдруг старую легенду о Меджнуне и Лейле. Однажды вечером к родителям Меджнуна пришли гости и его послали к соседям за маслом. Меджнун попросил масла у отца Лейлы, и тот приказал Лейле исполнить просьбу соседа. Когда Лейла стала наливать масло в кувшин Меджнуна, между ними завязался разговор, и оба они так увлеклись, что не заметили, как вокруг них образовалась большая лужа из масла. Ботичелли сказал, что главное — эта лужа, что её надо читать. Лужа масла в пустыне.

Тут собаки стали играть с крысой и всё внимание переместилось на них. Чёрный полубог с кольцами в ушах сказал, что он любит вечное возвращение у Ницше, потому что то, что возвращается в вечном возвращении, — это новое, а не старое. И он показал на крысу, бесстрашно глядящую на собак. Тогда Моцарелла сказала, что про вечное возвращение самостоятельно догадался Бланки, когда он сидел в тюрьме, потому что тюрьма обостряет желание свободы,

а вечное возвращение — это дверь из тюрьмы. Тут старуха в сапожках заметила, что завтра она пойдёт на свидание в тюрьму со своим возлюбленным. На свидание с человеком, который сидит уже восемнадцать лет. Тут все немного помолчали.

Потом был ещё разговор, и вскоре выяснилось, что у нас нет ничего на десерт. Тогда мы вызвались сходить и принести чего-нибудь сладкого. Мы подумали о торте. И вот мы встали и пошли, и все выразили нам своё одобрение, и сказали, чтобы мы поскорей возвращались.

И вот мы пошли и купили шоколадный торт. Мы его не украли, а купили. А украли мы бутылку весьма дорогого вина. Но когда мы вернулись в наш дворик с нашей добычей, там уже никого не было. Никого и ничего. Ни людей, ни собак, ни крысы, ни ковра, ни коробки. Даже мусора не осталось.

Что-то случилось во время нашего отсутствия. Но что именно, мы так никогда и не узнали.

30-е откровение: серджио

Мы шли по Корсо и ели торт. От потрясения всегда хочется есть сладкое. И вдруг прямо перед нашим носом затормозил огромный розовый автомобиль. Из автомобиля выскочил человек в полупрозрачном белом костюме и розовой рубашке. Он улыбался и растопыривал руки, будто хотел нас заграбастать. Он заорал:

— Буона сера! Друзья, буона сера! Я ваш друг, я — Серджио Мари, итальянский футболист! А вы — великие художники, и я приглашаю вас в свой дом в Римини написать портреты моей семьи. Соглашайтесь немедленно! Вы не пожалеете, дорогие друзья и товарищи!

И приглашающим жестом он распахнул дверцу своей машины. И, неизвестно почему, словно подчинившись гипнотическому внушению, мы в эту машину залезли. Но Серджио Мари не был Алистером Кроули.

— Едем немедленно! — крикнул футболист шофёру. — В Римини, Бальтазаро, домой! Аванти!

И мы поехали в Римини.

Всю дорогу Серджио рассказывал о своей жене и детях. У него было трое детей и одна жена. Она была академиком, профессором и исследовала сущность Италии. Так сказал Серджио Мари. По его словам, итальянская идея покоилась между двумя сущностными полюсами: архитектурно-математическим принципом и принципом сфуматто. Он объяснил, что сфуматто — это туманность, которую можно обнаружить на картинах Леонардо да Винчи. Таким образом, Италия как бы зависает между полюсом строгости и точности и полюсом неясности и тумана. Так, во всяком случае, объяснил Серджио.

Бальтазаро вёл машину очень быстро и рывками. Поэтому нас в конце концов затошнило. Это было чересчур — эта езда и болтовня Серджио. Мы только покачивались и помалкивали. Серджио сказал, что Леонардо да Винчи был страшный нигилист:

— Он считал, что все мы состоим из атомов. И все эти атомы только и хотят, что освободиться и летать в пустоте. Поэтому, полагал Леонар-

до, люди желают расти и двигаться. Мальчик хочет стать юношей, юноша — мужем, муж — патриархом, и так далее. И всё это — потому, что атомы хотят освободиться и улететь. То есть это атомы заставляют человека стремиться к смерти. Ведь после смерти эти атомы и будут наконец свободны.

И от удовольствия Серджио смеялся и чуть не плакал.

Наконец мы приехали в Римини. Всё тут действительно было как в фильме «Амаркорд».

— Я хочу вас угостить местной вкусностью, — сказал Серджио, и мы остановились возле кафе. Бальтазаро сбегал и принёс панини кон джелато. Мы обомлели — это были сэндвичи с мороженым. Мороженое было разных сортов в каждой булке — ванильное, фисташковое, крем-брюлле, шоколадное. После торта мы сожрали эти булочки с мороженым — и обалдели окончательно. Как от кокаина.

— Домой, Бальтазаро, домой! — закричал совершенно удовлетворённый Серджио. — Аванти!

Дом его был на самой окраине Римини. Это оказалось очень большая, но сильно недостроенная вилла с прилегающим пустырьём, на котором росли сорняки и новопосаженный куст роз «Гордость Франции».

Дом оказался также недостроен внутри. Там ещё толком не было электричества, не было люстр, с потолков и из стен торчали голые провода, куда полагалось бы вставить лампы. Зато всюду стояли толстые свечи, и всё было закопано воском. Мебель была в основном скандинавская, как для студенческих жилищ, но иногда попадались старинные шкафы с резными створками и трюмо в стиле «модерн». Стулья были всякие: начиная от пластмассовых и кончая настоящими венскими. Ещё было много грязной посуды.

— Сначала я представлю вас своей маме, — сказал Серджио, и мы вошли в полутёмную комнату.

Там было всё как в очень бедном крестьянском доме. Или не в очень бедном, а просто скромном. Столярная старая мебель, кружевные

салфетки на столе, на буфете. В деревянном кресле сидела старая женщина. Серджио представил нас, назвал её. Она не шевельнулась. Мы вдруг поняли, что она слепая. Она была в тёмном платье, с платком на плечах, с седыми волосами, убранными в узел на затылке. Она была похожа на супругу Никиты Хрущёва, как нам помнились её фотографии, виденные когда-то. Очень благообразные черты. В ней ощущались достоинство и покой. Она что-то сказала сыну, кивнула нам. Мы вышли. Серджио в её присутствии был немного другой. Более собранный.

Затем мы увидели его детей. Это было тоже кое-что. Сыну, старшему, было лет тринадцать, двум девочкам — лет восемь и пять. Они были абсолютно чёткими, чуткими, внимательными, ясными. Мальчик держался с сёстрами как рыцарь. И в то же время в них сквозило что-то от рабочих детей — строгое, собранное, взрослое, сознательное. Отличные в своём роде дети. Таким никакие взрослые как бы и не нужны. Они сами с усами. Они что-то знают своё, детское-недетское.

Затем мы отправились на второй этаж. Там были спальни, спальни. Китайские вазы, японские ширмы. Шелка, тюль, драпировки, тень. Серджио позвал:

— Алессандра, Алессандра!

Голос откуда-то ответил, воркуя. Серджио указал дорогу.

Мы оказались в большой ванной комнате. Богатырское окно выходило на пустырь, где виднелись розы. Комната была вся отделана голубовато-желтоватым кафелем, как самаркандская мечеть. В центре находилась обширная ванна, играющая перламутровыми переливками. Возле ванны на полу валялись розовая кружевная сорочка, великолепный сиреневый пеньюар, очки в роговой оправе и пачка «Мальборо». В ванне в неглубокой воде лежала жена Серджио сеньора Алессандра — рыжекудрая красавица с лицом бывалого индейца. Её царственные груди выступали из воды, как нагрудные доспехи обезумевшего Роланда. Когти на руках и ногах были покрыты пурпурным лаком. Её живот имел мускулатуру архаического торса

Геракла. Остальные пропорции были аполло-
нические, продолговато-отшлифованные упор-
ными гимнастическими занятиями и процеду-
рами. Рот у неё был синеватый, усмехающийся.
Волосы на лобке как бы рифмовались с кустом
роз снаружи. Она сказала: «Бенвенутти!» И тут
же поднялась из воды во весь свой рост. Струй-
ки и капли сбегали с неё, как со статуи во дворе
Лоренцо де Медичи.

Лицо Серджио мгновенно просияло. Он ки-
нулся накидывать на неё пеньюар. Весь его вид
говорил: вот, посмотрите, я — парвеню, а она —
графиня. Полюбуйтесь.

— Господа! — сказала сеньора Алессан-
дра. — Мы рады вас приветствовать на италь-
янской земле. Каждую страну нужно оценивать
по тому, как она относится к пошатнувшимся,
бездомным и странствующим. Каждую страну
нужно судить по тому, как она принимает нуж-
дающихся, бедствующих, отчаявшихся. Сегодня
мы видим во всём мире, даже в самых богатых
местах, как бедных и гонимых ещё более пре-
следуют, высылают, заключают и изолируют.

Позор тем странам и личностям, которые не дают приюта отверженным. Но здесь вы найдёте стол и ночлег. Здесь вы почувствуете человеческое тепло. Добро пожаловать в Римини, дорогие друзья!

31-е откровение: портреты

Не откладывая в долгий ящик, Серджио повёл нас показывать наши новые покои в его доме. Мы были несколько обескуражены, выяснив, что нам отведён гараж. Хотя это и был большой гараж, но мы слегка увяли. Почему? Ведь ещё вчера мы жили в картонной коробке! А в этом гараже был даже электрический свет, и Серджио сказал, что мы поэтому сможем здесь живописать даже ночью. В гараж были принесены раскладная кровать и кипятильник для чая. Кроме того, в гараже стоял мотоцикл, на котором ездила Алессандра, и было много полок с инструментами. Здесь же находились стопки журнала «Флэш арт», подписчиком которого числился Серджио.

Поздно вечером был ужин, только мы и Серджио. Мы снова вернулись к пасте. На этот раз она была в форме маленьких ушек с классической помидорной приправкой. Пили мы самогонную граппу превосходного качества. За ужином хозяин объявил нам о нашей участи.

Мы должны были, по замыслу Серджио, написать пять больших портретов. Один портрет — матери, один портрет — жены, один портрет — детей, один портрет — Серджио. Это — четыре. И один портрет — Серджио и Алессандра вместе. Всего — пять. За работу нам причиталось получить шесть тысяч монет. Писать мы обязаны были на холстах восемь на пять метров, акриловыми красками. Мы никогда в жизни не писали акриловыми красками.

После окончания работ Серджио намеревался немедленно организовать выставку в главной галерее Римини. Он обещал полный успех и хорошую прессу.

После изложения этого плана мы были отведены в наш гараж и приготовились ко сну. Но сон всё не шёл. Ибо мы возненавидели нашу новую участь.

32-е откровение: мама серджио

На следующее утро мы хотели выйти из гаража, чтобы пописать, покакать. Но оказалось, что почему-то гараж заперт снаружи. Мы стали стучать и кричать. Вскоре появился Серджио. Он открыл ворота и дал нам сладкое печенье. Ещё он сказал, что у него хорошие новости.

Во-первых, сказал Серджио, мы должны написать не пять, а шесть портретов. Шестой портрет будет его покойного отца. Он даже принёс фотографию и тут же этого отца показал. Таким образом, шесть тысяч монет за шесть портретов. Справедливо.

Во-вторых, сказал Серджио-футболист, он уже связался с самыми влиятельными людьми в итальянском искусстве и пригласил их на наш вернисаж. Это были Джермано Челант, Джанкарло Полити и Ахилле Бонито Олива. Великие организаторы и демиурги, творившие благо художникам на протяжении десятилетий, чтобы слава итальянского гения утвердилась там и сям. На самом деле они были более или менее

мерзавцы. Может быть, они даже напишут статью о нашей выставке.

В-третьих, сказал Серджио, он должен поставить свою дорогую машину в гараж, потому что, по прогнозам, собирается дождь. Но это нам не должно помешать в работе, потому что гараж очень большой. Он сказал, что мы можем начать писать его маму уже через час.

И в самом деле, через час мы услышали постукивание палки, и в наш гараж вошла слепая мама Серджио. Машина уже была здесь. Серджио придумал такой вариант: мама будет сидеть за рулём, а мы будем писать её через открытую дверцу автомобиля. Он очень хотел, чтобы на картине была его машина. Ещё он считал, что если слепая мама будет за рулём, то это очень концептуально и эффектно.

Мы остались наедине с мамой. Тут она сказала:

— Lui è un porco!

Это означает: «Он — свинья!»

После этого она погрузилась в задумчивость.

Мы прислонили холст к стене и принялись за работу.

Минут через двадцать мы закончили портрет с автомашиной. Чтобы дать это понять маме Серджио, мы громко сказали:

— Finito!

И ей тут же стало смешно. Она начала хохотать, как ведьма. Узел на её затылке так и ходил ходуном. Потом она резко остановилась и, постукивая палкой по полу автомобиля, пропела такие стихи:

Я — великий Буратино.
Я всю жизнь пишу картины:
То пейзажи, то портреты,
То бездушные предметы.
А как только напишу —
Носом их распотрошу.
Будет дырка в чьей-то шляпке,
В небе, в вазе, в дамской юбке.
Хорошо, когда в картине
Есть дыра посередине.
Можно сразу в двух мирах
Жить, как мыши в облаках.

И она снова принялась хохотать, так что даже вены на лбу выступили. На этот раз мы хохотали вместе с ней.

Затем мама сказала:

— Хочу пописать.

И мы помогли ей вылезти из машины. Мы все вместе вышли на пустырь. Капал мелкий дождик. Мама Серджио дала нам подержать свою палку, отошла от нас на пару шагов и подняла свою тёмную юбку. Под этой юбкой оказалась ещё другая — светлая. Мама подняла её тоже. Потом она немного присела, раскорячилась — и пописала на траву, на сорняки, на прибитую дождём пыль. При этом она тоже тихо хихикала.

Затем она взяла у нас свою палку.

Она сказала:

— Lui è un porco!

И мы все расхохотались во всё горло. Потом она ушла в дом.

Остаток дня мы провели сами по себе. Серджио не появлялся. Накрапывал дождь. Мы съели все наши сладкие печенья и совсем проголодались.

К вечеру какая-то птица закричала: «Так-так-так-так! Так-так!» Одновременно где-то организовался хор лягушек. Отставной карабинер командовал: «Раз-два, раз-два!» Лягушки недовольными голосами запели: «При-ррр-ро-да, вот она прирррода». И продолжали выражать своё недовольство природой ещё полчаса. Потом где-то вдруг заорал петух: «Хууулиганы!» Лягушки после этого заткнулись.

Мы поняли, что, кажется, очень сильно влипли. Надо было выбираться из этого болота.

33-е откровение: детки

На следующее утро мы снова обнаружили, проснувшись, что гараж заперт снаружи. Мы потарабанили кулаками и сапогами — пришёл Серджио. С ним были его детки.

— Давайте сразу начнём второй портрет, — предложил футболист, — мама сегодня не хочет.

Он и не подозревал, что мамин портрет уже закончен.

— Не будем терять времени, — улыбнулся Серджио. Сегодня он принёс нам коробку бисквитов.

Детки были наряжены в карнавальные костюмчики: мальчик — в звездочёта, одна девочка — в монашку, другая — в испанскую танцовщицу. Или что-то в этом роде.

Серджио вручил каждому ребёночку по розе. Они должны были позировать, по замыслу папаши, перед мамашиним мотоциклом.

На этот раз мы написали тройной портрет с мотоциклом за пятнадцать минут. Мы уже вполне освоили акриловую технику. Это было плёвое

дело. Дети позировали лихо. Под конец детишки решили нас порадовать и прочитали очень интересное стихотворение. Как-то так получилось, что оно опять было о знаменитом Буратино. Но, кроме того, в стихотворении фигурировал ещё один образ, который всегда захватывал наше воображение. Стихотворение так и называлось:

Буратино и Калиостро

«Калиостро, Калиостро!
Почему мне жить непросто?»
«Потому что, — говорит, —
В небе солнышко горит».

«Калиостро! Калиостро!
Как же быть?» — вскричал я постно.
Издеваясь или нет,
Погасил он солнца свет.

Мы остались в полном мраке.
Где-то лаяли собаки.
Калиостро тут сказал:
“Ciao, caro!” — и пропал.

Вот такое это было стихотворение. Дети, прочитав его, пришли в настоящее неистовство. Самая маленькая девочка даже съела от возбуждения свою розу.

После этого мы все выскочили на пустырь и стали прыгать. Нам очень хотелось как-то отблагодарить детей за их чудесный стишок, и мы решили обосраться. И в самом деле, детям это очень понравилось. Сначала девочки немного опешили, но их брат вёл себя как ни в чём не бывало и вежливо улыбался. Тогда мы совсем распоясались и стали мазать говно друг на друга. Тогда младшая девочка, наряженная испанкой или цыганкой, тоже обкакалась, причём прямо на свою розу. Этой розой она стала размахивать, словно это была кисть художника. Чуть позже она стала водить этой кистью по костюму своего брата. Получилась картина не хуже наших, стоящих в гараже. Мы все пришли в изрядное перевозбуждение и начали буйствовать. Это длилось минут десять: мы мяли траву, кувыркались и хватали друг друга за ляжки. Первым пришёл в себя и успокоился мальчик.

Он сел на землю, оправил свой костюмчик в говне и сказал, обращаясь к нам:

— Я хотел попросить вас. Пока не поздно, не рисуйте вовсе или рисуйте только такие картинки, как рисовал Гранвиль. Я очень люблю его иллюстрации к Гулливеру.

Мы были просто поражены. Дело в том, что Гранвиль вместе с Владимиром Яковлевым, Пьеро делла Франческа, Одилоном Редоном, Филоновым, Жерико, Клее и ещё кое-кем является одним из самых любимых нами художников. Парнишка попал в самую точку.

34-е откровение: александра

На следующее утро мы опять не могли выйти из гаража: он был заперт снаружи. Наконец появился Серджио с бутербродами. Он был не в духе. Попросил показать нашу работу. Мы предъявили ему два совершенно законченных холста. Когда он их увидел, у него отпала челюсть. То ли они ему понравились, то ли нет. А может, у него вообще не сложилось чёткого мнения. Мы сами себя помним в подростковом возрасте, когда впервые увидели работы Миро: мы просто не знали, что о них думать. То ли гениально, то ли полная туфта. Но Серджио быстро овладел собой и заявил, что по-настоящему вечные шедевры — *capolavori* — не могут создаваться за два дня. Мы в ответ сказали, что вообще-то написали их не за два дня, а меньше чем за час. Тогда он совсем расстроился. Он был очень красивым человеком среднего роста, с удивительно пропорциональными чертами, но в расстроенном виде стал похож на кисель. Барбарисовый кисель, впрочем. То есть очень аппетитный кисель, но всё-таки кисель.

Потом он пришёл в неистовство и стал кричать и жестикулировать. Он кричал, что на свете существуют только две великие вещи — футбол и искусство. И что он готов всё отдать ради них. Но что всё же искусство более важно, потому что принадлежит вечности. Но мы сразу же вспомнили нашего друга татуировщика Ботичелли, который говаривал, что искусство умирает вместе с телом. Так мы ему и сказали. И тогда Серджио окончательно разозлился. Он завопил, что даже футбол не умирает вместе с телом. Потому что остаются видеозаписи игр. То есть документация. Мы же возразили, что документация есть товар и мы её презираем. Так но и было на самом деле.

Но тут Серджио посмотрел на свои часы “Rolex” и сказал, что мы должны работать, он не может кормить нас зря. Мы не успели ничего ответить на эту невежливость и ложь, ибо Серджио сразу захохотал, будто это была шутка. Он сказал, что его жена Алессандра сегодня свободна и готова нам позировать. Ещё он обмолвился, что сам предпочёл бы, если бы мы писали Алес-

сандру рядом с новым телевизором, но его супруга отказалась наотрез и пожелала, чтобы мы изобразили её в ванной. Он сказал, что Алессандра обожает живопись Боннара и поэтому хочет быть нарисованной в ванне. И мы отправились к Алессандре с выставленными вперёд чистым холстом и красками.

Алессандра уже ждала нас. Она опять лежала обнаженная в ванне, но теперь вокруг неё плавали розы. На полу были разбросаны подушки, драпировки, туфли на высоких каблуках, стояла тарелка с гранатами, фигами и апельсинами. Алессандра курила и читала большой том. Это был «Симплициссимус» Гриммельсгаузена.

— Porca Madonna! — сказала она. — Почему так долго? У меня вода скоро остынет.

Мы вежливо извинились.

— А ты, Серджио, убирайся! — она досадливо махнула рукой.

— Слушаюсь и повинуюсь, моя повелительница, — проямлил футболист и исчез за дверью.

— Что я хотела вам сказать о Серджио, — небрежно бросила красавица, даже не удосужив-

шись проверить, не подслушивает ли её муж под дверь, — что же я вам хотела сказать о Серджио? Ах, да, он — дурак.

Она сказала это так, что мы сразу поверили.

— Серджио — маленький человек, — продолжила Алессандра. — И этим всё сказано. Гораздо легче понять, что творится в голове Данте, чем в мозгах маленького человека.

После этого она извлекла из драпировок на полу бутылку арманьяка и предложила:

— Будем пить прямо из горлышка, чтобы ближе познакомиться.

Мы по очереди приложились к бутылке. Это было чистое наслаждение после двухдневной голодовки. Под другой драпировкой оказалось блюдо с сырами и ветчиной.

— Терпеть не могу современное искусство и футбол, — с лёгкой брезгливостью прошептала Алессандра, приподнявшись из ванны и показывая грудь одалиски. — Кажется, мы в этом сходимся. Ибо что такое современное искусство? Воплощённое антисобытие! А я обожаю события, дамы и господа!

Мы только закивали в знак согласия. Трудно было лучше выразить наши собственные чувства в адрес обоих предметов.

— Поэзия, кажется, тоже окончательно прикончена, — с горечью промолвила женщина, прожёвывая фигу. — Поэзия стала личным упражнением некоторых единичностей и не способна более соревноваться с копьём, как во времена Архилоха.

Мы только согласно замычали. Слова тут были излишни.

— И тем не менее, — лицо Алессандры прояснилось, — я хочу вам сегодня прочитать поэму, которая, я надеюсь, будет неплохой преамбулой к дальнейшим более рискованным действиям. Этим я вовсе не хочу приуменьшить собственное значение ритмов и рифм, а скорее указать, как они должны воздействовать на открытую и свободную душу. Побуждать её к полёту и буйству, вот что я хочу сказать.

И она посмотрела на нас своими глазами индейского вождя, приглашающего своих соплеменников к проявлению крайнего неповиновения.

Прямо вслед за этим она начала читать, слегка постукивая пяткой по воде в ванне — отбивая ритм. Немного позже в ходе чтения она стала возбуждаться, бить ногами и всем своим роскошным телом, переворачиваться среди розовых лепестков и даже скрежетать зубами и пускать изо рта пузыри. Это было по-настоящему здорово. Поэма, которую она нам читала, называлась

Буратино и Чипполино

1

Вот вам повесть, вот вам быль
О делах, чей след простыл:
Буратино жил да был —
Буратино Старый Пень
В острой шапке набекрень.

2

Он действительно стал стар
И неряшлив, как клошар,
С головой, как битый шар,
С носом длинным, словно кий,
А беспомощен, как Вий.

3

Говорили тет-а-тет,
Что он в прошлом был эстет,
А сейчас анахорет...
Словом, подлинный чудак —
Хоть под мост, хоть на чердак.

4

Он и впрямь жил под мостом,
На обед ел суп с котом,
А на ужин — чистый бром,
Чтобы ночью нос не встал
И мальков не распугал.

5

На мосту снуёт народ —
То трамвай, то пешеход.
Под мостом — течение вод.
Ну а где же наш старик?
Носом в толщу вод проник!

6

Что он делал под мостом?
Всё читал — за томом том

То об этом, то о том.
Но газеты — никогда,
Лишь журналы — иногда.

7

Он читал Перро, Гюго,
Достоевского всего,
По, Бодлера и Прево,
И Делёза, и Додэ,
И Спинозу, и т.д.

8

Он читал Ларошфуко,
И про жизнь Шанель Коко,
И, конечно же, Фуко...
Но всему предпочитал
То, что в детстве прочитал.

9

Он любил свой книжный рай,
Как китайцы — свой Китай,
А японцы — крик «банзай»,
И всю жизнь читал взасос
Дикий гоголевский «Нос».

10

Впрочем, хватит гнать туфту.
В эту осень или в ту
Шла Чиппола по мосту.
(Наша былль, лети вперёд,
Как за самочкой угод!)

11

Чипполина, значит, шла —
Молода, свежа, мила,
Тонкокожа и бела...
Тут она под мостик — глядь!
Нос её за душу — хватить!

12

Да, влюблённость, да, любовь,
Да, вскипела в деве кровь:
Нос похож был на морковь.
А морковь для всех Чиппол
Означает сильный пол.

13

Похоть — это яркий свет,
Ослепляющий рассвет —

Смысла в ней ни капли нет,
Только утра ждать невмочь:
В сердце — темень, в сердце — ночь!

14

Вот она бегом под мост.
Смотрит — там кобылий хвост,
Хоть сегодня на погост...
Но зато — могучий нос
К шару-голове прирос.

15

Чипполина сразу в крик:
«Здравствуй, юноша-старик!
У тебя суровый лик,
Но твой нос явился мне
В сладострастном чудном сне...»

16

Буратино ей в ответ:
«Ты прекрасна, спору нет!
Только я — старик-аскет,
А мой нос есть тот грешок,
Что всем школьникам урок».

17

Чипполина говорит:
«У меня внутри горит!
У меня внутри болит!
Я хочу сейчас к врачу!
Я твой нос врачом хочу!»

18

Буратино говорит:
«Я не доктор Айболит.
Нос мой — мерзкий паразит!
На младенческом лице
Он — ужасная цеце!»

19

Чипполина вдруг орёт:
«У меня внизу всё жжёт!!
Словно там пролили йод!!
Ах, зачем так горяча
Кем-то данная свеча?!»

...Но тут чтение поэмы прервалось. Алессандра с диким криком забила в ванне, как огромная севрюга. Она непрерывно повторяла:

«Ах, зачем так горяча кем-то данная свеча?! Ах, зачем так горяча...» И вдруг она вскочила, расплескивая воду, обдавая нас брызгами и розовыми лепестками. Теперь она плясала в воде, разбрасывая руки, ноги и волосы, как хлыстовка в курной избе. Она повернулась к нам спиной, заиграла всей своей мускулатурой и, нагнувшись, обнажила глубокий, страшно зияющий анус, как в стихотворении Рембо. Затем она снова явила нам свои сосцы-колокола и тенистый пупок, как на лучшей картине Арефьева. А бёдра её сверкали, как магометанские клинки, тяжёлые и одновременно девственные лядвия тех гурий, которые ублажают павших воинов в мусульманском раю.

Мы тоже — неожиданно для себя — были захвачены этой пляской и превратились в фавнов и вакханок, в обезумевших дервишей и кликуш, в пьяных матросов и буйствующих суфразисток. Гомер, Лукреций, Бокаччо, Жерар де Нерваль, Петрюс Борель, Лотреамон, Ницше, Розанов, Эмма Голдман, Джек Лондон — все они знали, что человечество раскрывается до

последних своих потрохов в танце, что пятки, святые пятки являются золотыми основаниями нашего самостояния в природе и духе. Нижинский имел конечности, лодыжки, ступни, подобные птичьим лапам. Таково свидетельство его жены. Он почти что мог уже летать, его прыжки были журавлиным лётном. Летатлин! Летатлин! Алессандра тоже уже летала по ванной комнате. И мы с ней заодно, как щенки, как птенцы, как орлята. Лучшим стихотворением Бродского является стихотворение о ястребе, который взлетел слишком высоко, был захвачен пластами высшей атмосферы и не мог вернуться на землю, и сердце его разорвалось от нехватки воздуха наверху. Мы были уже примерно в таком же состоянии. Нам не нужно было никакого секса, никакого трения — только прыжки и верчения. И неважно было, что поэма оборвалась до своего конца. Разве «Египетские ночи» Пушкина не обрываются также? А попытка Брюсова окончить пушкинский шедевр не в счёт. Это была безуспешная попытка. «Египетские ночи» именно потому гениальны, что обрываются в вооб-

ражение читателя. Каково это воображение? Пропасть оно или канавка? Или его вообще нет, место пусто. Или небо над костром? Воображение есть важнейшая способность человеческого существа, чёрт побери, и посмотрите, что они с ним сотворили, маленькие люди и большие суки! Они изничтожили воображение! Поэтому мы в такой сраке!

Ах, зачем так горяча кем-то данная свеча?!
Зачем?

35-е откровение: нижинский

В конце концов мы все просто повалились друг на друга и дышали, как рыбы на берегу. Арманьяк был допит, картина закончена без всякого нашего участия. Ведь что так плохо в современном искусстве — во всех этих Макаревичах, Эд Рушах, даже Киппенбергерх? Они всё заканчивают и заканчивают, и всё начинает пахнуть могилой. Всё там пахнет могилой, падалью, свинцом, вы чувствуете? Бутиком, магазином воняет, немецким мерседесом, историей искусства. Барахолкой, люфтганзой, аптекой. Посмотрите на Монастырского. Или исхалтуриваются, как Пепперштейн. Почему не лежать и не дышать, а всё ваять и ваять? Почему не шалить и не хамить, а всё время нудить? И потом оказывается, что родили вы Кулика, то есть самого последнего кадавра и торгаша. И дальше идёт всё хуже и хуже, и идёт, и идёт... Хуй вам!

Нижинский хотел мечтать и летать. И в то же время он пытался вспоминать, глубоко дышать. Получился скандал. Это был последний урок.

Самый чистый, детский, настоящий, тонкий, упорный, умелый, талантливый, он не смог быть с Дягилевым, Павловой, Кокто и другими. Хотел быть с Иисусом Христом и мужиками.

Хуй вам, современники! Вся любовь только тебе, дорогой наш Вацлав, дорогой Артюр, дорогой Франсуа!

They fuck you up, your mum and dad.
They may not mean to, but they do.
They fill you with the faults they had
And add some extra, just for you.

But they were fucked up in their turn
By fools in old-style hats and coats,
Who half the time were soppo-stern
And half at one another's throats.

Man hands on misery to man.
It deepens like a costal shelf.
Get out as early as you can,
And don't have any kids yourself.

36-е откровение: бальтазаро

Бальтазаро был шофёром Серджио Мари. Но на самом деле он был воплощением ослика из фильма «Бальтазар» Брессона, только несколько более яростным воплощением. Он вдруг вошёл в ванную комнату с поднятым членом, и этот член выдавался далеко вперёд, как нос Буратино в поэме Алессандры. И он стал взбивать этим членом воду в ванне, так что получился настоящий пенистый сок, ибо он во время взбивания кончил в воду. Алессандра немедленно выпила стакан этой взбитой жидкости, и мы последовали её примеру. На вкус это было как икра с шампанским.

У Бальтазаро была чёрная курчавая борода, не скрывающая сочный рот дьявола, который мог бы быть соблазнительным, если бы не был вдвойне оскорбительным. Мы были так заморожены этой бородой, что подошли к Бальтазаро и попросили позволения дотронуться до неё. «Как барашек», — проговорили мы, прикоснувшись. Это было действительно волшебное ощущение.

Но такая же борода была у Бальтазаро вокруг его члена.

Бальтазаро был когда-то директором фабрики по производству пластмассовых стульев — где-то в районе Салерно. Тогда он ещё был молодым человеком. Но, уже будучи директором, он прочитал книги Кропоткина, Кафки, Кольриджа и Керуака. После этого он начал презирать свою работу. И не только презирать, но и саботировать её. В результате все пластмассовые стулья, на которые садились покупатели Бальтазаро, подламывались под ними. Вскоре Бальтазаро обанкротился.

После этого Бальтазаро организовал и возглавил питомник по выращиванию обезьян-гамадрилов. Он продавал их зоопаркам по всей Европе. Но, уже будучи главой питомника, он прочитал книжки Китса, Кракауэра, Кёппена и Квинси. После этого он начал саботировать продажу гамадрилов. Гамадрилы, которых он продавал в зоопарки, были специально научены открывать клетки. У них даже были специальные отмычки, припрятанные в гениталиях.

Вскоре разразился страшный скандал, и питомник Бальтазаро закрылся.

Тогда он стал производителем минеральных вод. И в это же самое время принялся читать Катулла, Киплинга, Казанову и Кертеша. Это подвинуло его на очередную акцию саботажа. Вместо минеральной воды он вздумал продавать обычную, из водопроводных труб. За это его посадили на несколько лет в неаполитанскую тюрьму. В тюрьме он читал только мемуары кардинала де Реца и вскоре совершил дерзкое бегство из темницы, после чего и стал шофёром Серджио. Чтобы на время замести следы.

Теперь в ванной комнате сеньоры Алессандры он отжал несколько плодов граната прямо на свой член и Алессандра с удовольствием его пососала. В это время Бальтазаро продекламировал:

О «саботаж» — вот так словечко!

(Из Франции занесено.)

Способно просветить оно

В стадах глупейшую овечку.

Какая власть дана словечку!
Ничтожнейшего человечка
В героя превратит оно.
Ему перед судьбой дано
Гореть, как пред иконой свечка.
Оно падёт в нас, как зерно, —
И прочь все сёдла и уздечки!
Необычайное словечко!!!

После этого мы еще немножко поплескались в ванне, и Бальтазаро сказал:

— Я пришёл сюда по приказу моего хозяина Серджио, который повелел отвести вас в гараж и запереть на ночь. Таково слово моего господина и повелителя.

И все мы расхохотались как бешеные. Будьте вы прокляты, футболисты и современные художники!

37-е откровение: бегство

Потом мы спустились в гараж вместе с Бальтазаро. Там стояла роскошная машина Серджио. С шофёрского сиденья Бальтазаро извлёк книгу Клоссовского о маркизе де Саде и спросил, читали ли мы эту книгу. Мы наврали, что читали.

— Эта книга, — сказал Бальтазаро, — навела меня на мысль открыть новое издательство в Риме. Оно будет лучше, чем Фельтринелли. Я стану выпускать книги порнологического и революционного характера, но на обложках будут имена Монтеня, Мопассана, Мольера, Моравиа, Мильтона, Мюссе, Монтескье, Мерло-Понти и других уважаемых авторов. Это будет мой следующий акт саботажа.

Мы сказали, что одобряем его идею.

— А теперь, — сказал он, — вы должны убежать отсюда с моей помощью. Чтобы учинить ещё один саботаж — саботаж этого cazzo Серджио.

Мы снова выразили наше полное одобрение. Жизнь вдруг снова показалась нам замечательной и завораживающей.

— Но сначала мы все вместе просаботируем этот автомобиль, — хищно осклабился Бальтазаро.

У него уже был приготовлен баллончик с чёрной краской. И мы все вместе старательно написали на этом розовом автомобиле разнуданными буквами:

The owl and Pussycat went to sea in a beautiful
pea-green boat

Потом мы долго вспоминали, что же было дальше в этой истории. И наконец написали:

They took some honey, and plenty of money,
wrapped up in a five-pound note

После этого на машине не осталось ни одного свободного места для писания. Она была сплошь покрыта нашими граффити.

Затем Бальтазаро предложил распить бутылку кампари и скушать несколько кальцоне. Так мы и сделали.

Потом мы вышли из гнусного гаража на пустырь. Тут к нам присоединились Алессандра, трое детей Серджио Мари и его слепая мама. Была уже ночь, лунная странная ночь, как на

картине Таможенника Руссо «Спящая цыганка». Небольшой процессией мы двинулись прочь из владений футболиста. Как последний акт саботажа на его территории, мы оборвали все его розы с розового куста, чтобы он не думал, что розы могут кому-то принадлежать.

Мы шли как люди, отказавшиеся от своих прежних забот и утверждающие поэтический статус человека на Земле. Мы пересекли пустырь Серджио, который по размеру был не меньше, чем кукурузное поле в штате Айова. Вскоре мы вышли к морю. Оно дышало и с тяжким грохотом ложилось к изголовью. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Как огромный ритмично дышащий зверь с блестящей чешуёй, море хотело лизать подвижным языком наши ступни. Оно с нами играло. Играли и звёзды в широком пульсирующем небе. Они подмигивали нашей открытости бытию, нашей опасности, как бы говоря: «Ну-ну, посмотрим, насколько вас хватит». И в стороне на волнах покачивалась маленькая рыбацкая лодка, как в Галилейской истории.

Эта ночь была наш улов. Как улов галилейских рыбаков.

Мы зашли в воду, чтобы ощутить всё — вплоть до разницы температур и до дрожи собственного крошечного тела в гигантском коконе ночи.

Вдруг позади нас раздался крик. Мальчик, сын Алессандры, стоявший поодаль, всплеснул руками и навзничь упал в воду.

Сразу последовал другой крик, похожий на «караул». Это закричал Бальтазаро. В два прыжка он очутился там, где упал мальчик. И пока мы ещё бежали, он поднял мальчика из воды и понёс его на берег. Что-то древнее было в этом наглом и забавном человеке с белыми руками, покрытыми чёрной шерстью, прижимавшем к себе хрупкое сломленное тело мальчика.

Голова подростка запрокинулась назад, руки висели, безучастно покачиваясь при каждом движении.

— Что же это? — спросили мы.

— С ним звёздный удар, — повторял, тяжело дыша, Бальтазаро. — Звёздный удар.

— Да положите же его наконец, — почти крикнула Алессандра.

Бальтазаро осторожно опустил мальчика на камешки. Все мы встали перед ним на колени. Одна из сестёр принесла в ладошках воду и брызнула ему в лицо. А Алессандра проворковала вполголоса: «Очнись, маленький, очнись, пожалей нас!»

И мальчик, словно нехотя, пришёл в себя. Посмотрел на нас отсутствующими глазами и улыбнулся.

— Это звёздный удар, бывает, — снова сказал Бальтазаро и поправил волосы на лбу пострадавшего.

А слепая старуха, мать Серджио, слегка постучала своей палкой по колену мальчика, глядя в пространство. И он окончательно пришёл в себя, сел, посмотрел с улыбкой на сестёр.

— Мне хорошо, совсем хорошо, — проговорил он. — А когда мы снова пойдём?

38-е откровение: казино

Остаток ночи мы провели в главном казино Римини. Это было здание, построенное во времена Муссолини и сплошь покрытое мозаикой, прославляющей фашистское государство. Внутри были буфеты, рулеточные столы и игральные автоматы. Мы долго договаривались с охраной, которая не хотела пускать детей. Но потом оказалось, что один из охранников родом из Пескары, как и Алессандра. Все проблемы были мигом улажены. Детей усадили в буфет, а все остальные отправились испытывать судьбу. Всем нам, в общем-то, нечего было терять.

В эту ночь у нас было на всё про всё 600 монет наличными. На всю честную компанию. Сначала мы проиграли 500. Осталось 100 монет. Тогда Бальтазаро пришла в голову счастливая идея: играть должны не мы, не Алессандра, не он, даже не дети, а слепая мама. Слепая мама должна нас спасти — или пропадай всё пропадом. И вот мы сели за стол, вернее, села мама, а мы столпились позади. Она три раза

ударил своей палкой в пол. Три раза и ещё четыре. Мы поставили на семёрку. И сразу отыграли свои 500 монет и выиграли ещё 200. Неплохо для начала. Но это было именно начало. Старуха просто преобразилась. То она выглядела как мадам Хрущёва, то как графиня из «Пиковой дамы», то вдруг как Аполлинария Сулова, а через мгновение опять как сицилийская колдунья. В ней были все архетипы, так сказать. Если бы Фрида Кало успела состариться, то она выглядела бы именно так. И ещё Гертруда Стайн, как её нарисовал Пикассо. И ещё как Вольтер после трёх бутылок шампанского. Или как Стравинский после совокупления с Авой Гарднер. И она непрерывно выигрывала, выигрывала, только палка ходила ходуном и крошила паркет этого сраного заведения. Она даже стала прищёлкивать языком, как сиракузский оракул. У неё был прикус Антонена Арто, if you know what we mean. И сидела она очень прямо, хотя и не деревянно, словно некая Эльга. Она выиграла нам всем 53 тысячи монет, без шуток. Для нас это были большие деньги, ведь

мы не пижоны и не лауреаты премии Кандинского. Мы вообще никакие не лауреаты, и лорд Байрон был абсолютно прав, когда жестоко потешался над лауреатами. В этом мире лауреатство означает только одно — слабость и шкурность, шкурность и слабость. Поэтому мы были просто в шоке, когда она нам выиграла эти деньги. С нами чуть не случился оргазм или что-то вроде недержания. Просто из-за такого неслыханного подарка фортуны. Но мы всё-таки сдержали слёзы и сопли, как это рекомендовал Фуко. Мы их всегда сдерживаем, потому что мы не Горький в ГУЛАГе и не Солженицын в Стокгольме. Мы не Осмоловский в джипе и не Маурицио Каттелан на пляже. Мы бродяги, мы не принадлежим ничему и никому, мы — прах, мы — элементалы, мы — пёстрые скоты Заратустры, износился галстук наш горошинкой, в сердце рухнул деревянный мост, и поздно стоять с протянутой рукой, поздно корчить сладенькую рожу, поздно соглашаться на похабень. Всё поздно, как сказал Экклезиаст. Так прочь же, убогая шваль! Прочь!

Тот, кто хочет, чтобы тени
Исчезали, пропадали,
Кто не хочет повторений
И безбрежности печали,
Должен сам себе помочь —
Должен твёрдою рукою
Все пилюли бросить прочь!

Выиграв деньги, старуха их тут же и продула. А как же иначе? Мы не могли её остановить, она так и рвалась разорить это казино в Римини, но казино в конце концов одержало верх. Для того казино и существует, чтобы разлучать дураков с их монетами. Правда, на прощание мы насладились реваншем. Вообще говоря, этот сарай с фашистской мозаикой отличался от югославского притона из фильма Макавеева. Тут не орали на крупье и не плакали, не испускали оргазмических воплей при выигрыше и не умоляли рулеточное колесо остановиться на пятёрке. Здесь всё было чин чином и пахло угасающим климаксом. Тут протухала куча людей, как в музеях. Пришли с маленькими деньгами — и уйдут

с маленькими деньгами, что бы они там ни проиграли. Далеко от белой горячки и золотой лихорадки, далеко от цветов зла и пира во время чумы.

Мы откололись от нашей компании и очутились в зрительном зале. Девка в бело-золотой тоге всучила нам афишку у входа. Там значилось: «Скандал в доме Цезаря». В нас вспыхнула наша всегдашняя страсть к скандалам. Тут уж ничего не поделаешь.

Зальчик быстро заполнился. В плюшевые кресла уселись старички-бодрячки, одинокие очкарики с пузиками-шариками и какие-то хамы с пластиковыми зубами. Были тут и бабы с фигурами как крабы. Заиграла музыка, словно вспухло пузико. Это была итальянская песня, сладкая, как жареный сахар. На сцене явилась брюнетка в неоновом бикини и стала вращать атлетическими бёдрами.

Она была супер, вероятно, беженка, может быть, из Румынии. Она была прекрасна варварской тёмной красотой нищей страны. Множество тупиц на свете думают, что красота может

спасти женщину от невзгод и ужасов жизни. Но эта танцовщица была чертовски красива и всё-таки виляла мускулатурой здесь, в этой грязной фашистской харчевне. Она не убежала от хамства и невзгод этого свинячьего царства, она была тут. И, может быть, все эти мужики торчали здесь не для того, чтобы наслаждаться её анахронистической прелестью, а для того, чтобы радоваться её унижению. Её сломенности, её податливости, её готовности, хотя она была лучше их всех и сильнее в сто раз.

Она потанцевала немножко, и на сцене появился Цезарь. Он был одет в чёрные плавки и пурпурный плащ. Член в плавках лежал как банан из Доминиканской Республики. Этот тип стал кружиться вокруг женщины и в конце концов поставил на неё ногу. Нога была в красной сандалиии. Теперь танцовщица стояла на коленях, и её прекрасная задница был обращена к нам, и мы даже различали волосы, выбивавшиеся из её трусиков, а её груди без лифчика чуточку дрожали и стали просительными. А ступня этого мужлана покоилась теперь на её голове!

Это был действительно мерзкий скандал, и мы не могли уже этого терпеть. У нас всё переворачивалось внутри.

Поэтому мы вскочили и ринулись по головам зрителей на сцену. В этот момент мы позабыли обо всех предосторожностях. Видимо, сказалось наше собственное унижение в гараже Серджио. Довольно, довольно унижений! Мы запрыгнули на сцену и толкнули Цезаря, так что его нога мигом слетела с танцовщицы, да и весь он покатился на пол. Так бы и упал, если бы не зацепился рукой за бархатный занавес.

Откуда-то раздался свисток. Это свистела в свистульку девка в бело-золотой тоге. Она тут была как агент службы безопасности. Мы тут же обнаружили, что нас поедает глазами весь зал, а через мгновение к нам уже бежали ужасающие держиморды. Но, к счастью, вместе с держимордами бежал к нам и Бальтазаро.

Они вскочили все вместе на сцену и чуть не учинили драку. Но Бальтазаро закричал неистово:

— *Noli me tangere! Noli me tangere!*

И это всех на миг отрезвило. И в этот же самый миг Бальтазаро схватил и поволок нас куда-то за кулисы, в тёмный коридор. Там он быстро распахнул некую красную дверь — и мы очутились на улице.

— Быстро! Быстро! — прикрикнул Бальтазаро. Мы ещё немного побегали и остановились прямо перед вокзалом. Бальтазаро сказал:

— Вот вам тысяча монет. Мамаша снова отыгралась.

Мы тут же упрятали деньги в карман. Бальтазаро продолжал:

— А теперь садитесь на поезд и уматывайте отсюда. Это для вас слишком маленький город.

— А как же ты? — удивились мы. — Ты же хотел открыть издательство в Риме! Порнологическое! Революционное!

— Я передумал, — сказал Бальтазаро. — Я еду на Корсику. Объявлю себя потомком Наполеона и провозглашу остров независимым.

— Наполеоном?! — воскликнули мы.

Он захохотал, довольный.

— Просто очередной саботаж. Хочу на этот раз саботировать Французскую республику. Мне тут стало тесновато.

Мы обнялись и расцеловались с ним. Наша дорога лежала в Рим, ибо у нас сложилось впечатление, что мы не до конца его покорили. Нам хотелось чего-то ещё. Ещё и ещё, до полного самозабвения.

39-е откровение: купе

Мы истосковались по мудрости. Поэтому в самом конце, уже после прощания, мы попросили позволения ещё раз потрогать чёрную курчавую бороду Бальтазаро. Он разрешил. И опять она была наощупь как барашек. Это нас немного успокоило.

В утреннем поезде, в тамбуре, к нам подошёл человек с лицом актёра Джан-Мария Волонте. Он сказал без всяких предисловий:

— Ваши документы, пожалуйста.

Мы так же без всяких предъявили наши фальшивые пресс-карты. Он долго на них смотрел, а насмотревшись, спросил:

— В чём, собственно, дело? Вы можете мне сказать?

Мы пожали плечами:

— Сами не знаем.

Тогда он придвинулся к нам вплотную и проворчал:

— Чего вы хотите? А?

И ещё раз:

— Чего вы хотите? Отвечайте!

Мы ответили:

— Всё, что мы хотим, это момент. Всё остальное мы уже испортили. Момент — это всё, что нам осталось. И мы этого очень хотим.

Тогда он сказал:

— Пройдёмте в моё купе.

В его купе пахло трубочным табаком и кожаными перчатками.

Джан-Мария Волонте сказал:

— Знаете ли вы что-нибудь о теории ассистентов? Теория ассистентов или помощников? Это теория Джорджии Агамбена.

— Да, — сказали мы, — мы читали про ассистентов. Это такие недоделанные существа или даже вещи, которые помогают людям обрести мессианское царство. Они всякими смехотворными способами показывают человеку, что человека не существует. Ассистенты учат профанации.

— Правильно, — сказал Джан-Мария Волонте. — Так что же, вы думаете, что вы — ассистенты?

— Нет, — сказали мы. — Мы так не думаем.
С чего вы это взяли?

— Так кто же вы тогда? — спросил он, осматривая нас с ног до головы.

— Непонятно, — таков был ответ.

— Вы сами себе вредите, — покачал он седящей головой. — И, кстати, вы ничего не потеряете, если скажете мне правду. Уверю вас.

— Ничего, кроме нашей свободы, — промямлили мы, нагляя.

— У вас нет никакой свободы, — отрезал он презрительно. — И чем дальше, тем её будет меньше.

Это прозвучало как обещание. И вовсе нам не понравилось.

Но тут дверь в купе открылась, и мы увидели молодую и довольно привлекательную особу. Она выглядела наполовину как Джоди Фостер, а наполовину как Деми Мур. Она была одета в белую блузу и чёрную кожаную юбку. Ноги у неё были покрыты свежим загаром. Тем же самым было покрыто и её лицо. В руке она держала свежезажённую сигарету.

— Ну как вы тут? — сказала она, обращаясь в Джану-Марии Волонте.

Тот только покачал головой.

— А мы что, под арестом? — осмелились осведомиться мы.

Они оба посмотрели на нас с некоторым сарказмом и ничего не ответили.

В этом просторном и комфортабельном купе было всего два места — нижнее и верхнее. Обе койки были аккуратно заправлены. У окна помещались изящный столик и сиденье, на котором расположился Джан-Мария. Мы же сидели на нижней койке.

Тут Деми-Джоди поставила ногу в изящном полуботинке на нашу койку и ловко запрыгнула на верхнюю. Теперь перед нашими глазами оказались её загорелые икры и милая обувь. Эту обувь она умело скинула и показала нам ступни, которым позавидовала бы любая дура. Ногти её на ногах были покрыты тёмно-красным лаком.

Она выпала из нашего поля зрения, но нам показалось, что она там, наверху, раздевается.

Это было странно, потому что время было утреннее и оба они — Джан-Мария и Деми-Джоди — выглядели совершенно выспавшимися. Но каково же было наше удивление, когда и сеньор Волонте тоже начал раздеваться. Как будто нас тут и вовсе не было.

Вот он снял брюки, а вот и светло-голубую рубашку. А вот уже и носки. Наконец он сбросил с себя и белые гадкие трусики. Вся его одежда осталась на столике, а сам он, полностью обнаженный, чёрно-волосатый и нисколько не загорелый, также опёрся ногой о нашу койку и перекинул своё тело на верхнюю лежанку, где уже покоилась Деми-Джоди. И мы услышали, как они начали заниматься любовью.

Сначала они только целовались и чуточку чмокали. Но несколько позже интенсивность их действий возросла. Нам уже не хотелось сидеть тут на нижней полке в смущении. Мы встали и стали смотреть. Это был почти brutальный физический акт, лишённый всякой нежности, но зато преисполненный подлинной похотью. Они действовали с закрытыми глазами. Она

была снизу, он — наверху. Кажется, он двигался немного торопливо и нерасчётливо. Во всяком случае, он пришёл к финишу первым. Испустил придушенный вопль. Мы увидели слюнку, сбежавшую из его рта на её шею. Когда он кончил, она стала тереться, обхватив его бёдрами, тереться, тереться, пока сама не достигла искомой точки. После этого, с глупой ясностью, которая приходит после полового акта, они посмотрели друг на друга, а потом и на нас.

— Всеми своё время, — сказала она. — Всеми своё время. Это знали умные люди с основания мира, не так ли?

Джан-Мария согласно кивнул. Тут она поцеловала его в губы. Они переменили позицию. Теперь она была сверху. Она снова стала тереться всем своим телом, тесно прижавшись к нему. Её волосы свисали вниз, на его харю. Она оставляла на его теле влажные полосы. Мы почувствовали запах их спектакулярного соития.

— В чём дело, Джан-Мария? — спросила она. — Ты всё ещё не готов.

— Не знаю, — сказал он отрешённо.

Но вскоре он был готов, и они проделали это ещё раз. Она оставалась наверху. В самом конце он стал медлить, как бы сдерживаясь, даже наверняка сдерживаясь, и она кончила первой. Некоторое время они лежали неподвижно. Наконец она сказала, повернувшись к нам:

— Выложите всё, что есть у вас в карманах, на стол. Сейчас же.

И вот список того, что мы выложили на столик рядом с одеждой Джана-Марии Волонте:

1. Ручка “Parker”, чёрная. Made in UK.
2. Две бумажки, чистые.
3. Один фунт стерлингов.
4. Два камешка морских, серые.
5. Две нитки — серая и белая.
6. Тысяча монет бумажных.
7. Две монеты медные.
8. Игральная кость чёрная с белыми точками.
9. Кольцо из неценного металла, найденное в Барселоне на улице.
10. Ключ старинный, найденный на берегу в Брайтоне. Ржавеющий.

11. Страница, вырванная из антологии “Great poets of the 20th century”, со стихотворением Филиппа Ларкина под названием “Vers de Soci t ”.

12. Очки солнцезащитные из магазина “Anatomica” в Париже. Складные, специальный дизайн.

13. Пуговица коричневая с белыми крапинками, от ширинки.

14. Песчинки немногочисленные, но не поддающиеся точному подсчёту.

15. Нож складной, с одним лезвием.

Когда мы всё это выложили, они со своей верхней полки это всё проигнорировали. Даже не взглянули на столик. Пару минут они шушукались, а позже, как по команде, спрыгнули вниз. Теперь они стояли перед нами голые, влажные, потные, с растрёпанными волосами, нисколько не стесняясь. Потом стали одеваться, и во время этой процедуры из кармана брюк сеньора Волонте выпал пистолет. К сожалению, он это сразу заметил и подобрал оружие с пола.

Деми-Джоди сказала:

— На вас были заведены дела в Копенгагене, Мадриде, Берлине и Эдинбурге. В Копенгагене вы нанесли физический ущерб грузинскому профессору, в Мадриде оскорбили короля Испании, в Берлине из-за вас люди страдают от кошмаров и бессонницы, а в Эдинбурге вы обкакались в театре под предлогом, что это часть спектакля. Как видите, мы всё о вас знаем.

— Да, но всё это были ошибки, — отвечали мы, — и, кроме того, нас пытались оклеветать.

— Кроме того, — перебила нас эта женщина, поправляя свою кожаную юбку, — в Лондоне хозяин бара вызвал полицию, чтобы остановить ваш незаконный стриптиз во время чужого перформанса. А в Риге вы начали плясать и вопить во время симфонического концерта. То есть, когда оркестр играл, вы пытались сорвать его представление.

— Мы были просто под впечатлением музыки, — сказали мы.

— Я уже не говорю о делах трёхлетней или пятилетней давности, — сурово оборвала она. — Вы всюду оставляете свои грязные, глу-

пые, инфантильные следы. Вы всюду пытаетесь привлечь к себе внимание. В Вене вы дали щелчок в лоб артистической паре из Нью-Йорка. Кажется, вы не только хулиганы, но ещё и зловердные драчуны и антисемиты. Вы всегда нападаете на представителей меньшинств. Вы атакуете слабых и беззащитных. В вас безусловно присутствует фашистский элемент.

На это мы уже ничего не могли ответить. Наш язык перестал нас слушаться, и ноги наши дрожали.

— Я думаю, — остро поглядела на нас Деми-Джоди, — что вы злостные завистники. Сами вы не имеете никаких талантов и поэтому нападаете на людей талантливых и даже гениальных, но не способных защитить себя. Это говорит о том, что вы самые низкие и подлые антисоциальные элементы, которых только можно себе представить. Испорченные до мозга костей, аморальные и лишённые к тому же всякого воображения. Пачкуны и дегенераты самого низкого свойства.

Это был уже удар ниже пояса. Так, во всяком случае, мы почувствовали. И содрогнулись.

Воцарилось молчание, которое прервал Джан-Мария:

— Уже скоро Болонья, — сказал он, поглядев на свои часы. — Ну, что будем делать?

Тут они оба посмотрели на столик, где лежали наши вещи. Джан-Мария взял пачку денег, подаренную нам на прощание Бальгазаро, пересчитал все монеты и усмехнулся.

— Откуда это у вас? — едко спросил он. — Вы ведь, насколько я знаю, никогда палец о палец не ударили. Откуда у вас столько денег?

— Это подарок, — ответили мы.

— Подарок! — хохотнул он. — У вас, я вижу, много дарителей! Ох уж доберёмся мы до них тоже.

После этого он положил наши деньги себе в карман, оставив на столе только наш старинный фунт стерлингов. Это был тяжёлый удар.

Поезд стал тормозить.

— Считайте, что это было последнее предупреждение, — сказал Джан-Мария Волонте. — А сейчас я хочу, чтобы вы извинились и попросили прощения. Иначе вы сойдёте с нами и

окажетесь в маленькой комнатке с решёткой на окне.

Эта перспектива нас абсолютно не устраивала.

— Извините нас, пожалуйста, — проговорили мы во весь голос, — мы никогда больше не будем. Обещаем вам и просим у вас прощения.

Поезд встал на станции. Это была Болонья. Мы тут когда-то провели целый месяц, давным-давно, во времена Савонаролы.

— Извините нас, извините, — ещё раз проговорили мы. — Пожалуйста, извините нас.

Деми-Джоди выхватила из-под нижней койки какой-то металлический чемоданчик. Они уже торопились и не обращали на нас никакого внимания. И всё-таки они были ещё здесь.

— Смотрите мне! — вдруг как-то по-блатному, страшно и гадко, прошипел Джан-Мария Волонте и дёрнул ручку купе.

Через мгновение от них остался только испаряющийся запах полового сношения, трубачного табака и дорогих французских духов.

40-е откровение: крыса

Когда мы прибыли в Рим, то были просто поражены нашим счастьем. У нас ничего нет. Мы нигде не живём! Никакого места у нас нет! И в Рим мы не вернулись, а попали впервые! И вообще Рима не существует!

На площади перед вокзалом сидели две пожилые женщины, укутанные в одеяла. Их скарб был здесь: три ведра, каталка из супермаркета, наполненная тряпьем, пластиковые пакеты. Мы поравнялись с ними и они сказали:

— Tutto bene?

И мы закричали:

— Tutto in ordine!

Они дали нам кулёк с клубникой. Она была только что вымыта, и на ягодах сидели ясные капли воды. Мы съели эту клубнику прямо тут, на месте. И вдруг из одного мешка, стоявшего у ног бездомной, вылезла белая крыса. У неё были красные глаза и розовый хвост. Мы тут же вспомнили, что уже видели эту тварь. Тогда, когда пировали с нашими друзьями во дворике

с акацией! Как же эта крыса оказалась здесь? Или это её сестрица?

Крыса сидела и глазела на нас. А мы глазели на неё. У женщин были две сковородки, пачка газет и несколько полотенец. В каталке лежали спальные мешки, резиновые сапоги и зимняя одежда. Ещё у них были длинные жёлтые свечи и консервы.

Одна из женщин скинула с плеч одеяло. На ней было надето несколько гавайских рубаш. На верхней рубаше был рисунок: девушки в бикини под пальмами.

— Красивая рубашка, — сказали мы. Нам она действительно понравилась.

— Вчера приобрела её, — сказала женщина с лицом печёной картошки.

— Давно здесь живёте? — спросили мы.

— Всю жизнь, — ответила вторая женщина с лицом старой газели.

Тут крыса стала есть одну жёлтую свечку.

— Вы свечи для неё держите? — спросили мы, показав пальцем на тварь.

— Она от них без ума, — сказала старуха-газель.

- А откуда она у вас? — спросили мы.
- Пришла с вокзала, как и вы.
- И ест только свечи?
- Она ест всё, что мы едим.
- А клубнику?
- Она ест даже чеснок. Даже нутеллу.
- Неплохо, — сказали мы.
- Она такого же возраста, как и мы, — сказала газель.
- Откуда вы знаете?
- По хвосту. У неё на хвосте круги, как бывает на дереве.
- И сколько кругов?
- Шестьдесят пять.
- Неплохо, — снова сказали мы.
- Она умнее всех здесь, — сказала печёная картошка. — Всех, кто тут ходит. Всех женщин, мужчин и стариков.
- Охотно верим, — сказали мы.
- Она умнее всех, кто сфотографирован в газетах, — указала старая газель на пачку газет. — Умнее всех, кто пишет в этих газетах, и умнее всех, про кого пишут.
- Это уж точно, — сказали мы.

— Вам нужны новые ботинки? — спросила печёная картошка.

— Нет, но нам нужен спальный мешок.

— Окэй, — сказала газель. — Возьмите этот зелёный. Он тёплый.

Мы взяли указанный спальный мешок. Он и теперь с нами, когда мы рассказываем эту историю.

— Grazie, — сказали мы.

Тут крыса перестала есть свечу и снова на нас посмотрела.

— Когда мы вас увидели, — сказала печёная картошка, — как вы идёте с вокзала, мы сразу поняли, что вы не люди.

— Нетрудно было догадаться, — усмехнулась старая газель.

— That's good, — сказали мы.

— Да уж конечно, — сказала картошка. — We are getting too old for this shit. All of us.

— What shit?

— Этот мир, — сказала картошка. — Questo mondo.

Тут белая крыса встала на задние лапы и помахала нам хвостом.

— Понятно, — сказала старая газель.

— What's the matter? — спросили мы.

— Она, — указала газель на крысу, — хочет, чтобы вы следовали за ней.

— Следовали куда?

— Не знаю. Куда она пойдёт.

— That's great, — сказали мы.

Крыса уже бежала. Мы ещё раз поблагодарили картошку и газель за спальный мешок. Мы вынуждены были спешить. У крысы был довольно скорый шаг.

Вокзал остался позади.

41-е откровение: палаццо

В горку, на горку, по серым асфальтам... Рим — город на холмах. Бурлят дороги машинами, пытят мотоциклетки... Карабкаются вокруг разноцветные чёртики. Рим — ад. Чёртики легко превращаются в орущих грешников. Нас через этот снующий, вопящий, гремящий ад ведёт наш Вергилий — белая крыса. А глаза у неё красные — под цвет ада. Но куда же она нас ведёт? Хоть сама-то она знает об этом?

Мы за крысой петляли вокруг холмов и на холмах. Никто не дал стакана вина. Старая газель и печёная картошка остались далеко на вокзале. Рим вокруг был суетлив и неприветлив. А приветливость, по словам Алексея Михайловича Ремизова, — это самое главное в жизни.

Спустился вечер, встала луна. Крыса шла без усталости, останавливалась, поджидала нас. Один раз мы передохнули вместе и поели с ней пирожки с сыром и томатным соусом. Удивительные пирожки, как в детстве.

А кто был вокруг нас? Люди, дети. Люди, в которых умерли дети. Девушка Антонелла, девушка Романа, девушка Франческа. А кто такая Франческа? А это такое существо, которое всегда улыбалось, потому что не могло не улыбаться, ведь она такой родилась. Её мать говорила: «Ты всегда улыбаешься, морщины у тебя будут вокруг губ, и будешь казаться старой». Но Франческа не боялась никаких морщин и всё улыбалась. А потом она вышла замуж и стала рожать детей — прямо изо рта рожать. И никто её больше улыбающейся не видел. Такая вот старая история.

Следуя за крысой, мы пробежали через Monteverde, Portonaccio, Prati и углубились в Rebibbia. И была там стена, а за стеной сад, а в саду стоял дворец. И вот крыса проскользнула за решётку в сад, и нам ничего не оставалось, как последовать за ней. И вот мы перелезли через решётку и оказались в старом тёмном саду. Была уже нешуточная ночь. И вот эта белая тварь прошмыгнула в дебри сада, а мы за ней. Тут росли лавры, лимоны, пинии, эвкалипты, кипарисы,

пальмы и ещё какие-то мощные деревья, которые мы не могли определить в темноте. Земля в саду была влажная и покрытая мхами. В сущности это был не сад, а парк. И внутри парка стоял дом. Это было старинное палаццо с тяжёлыми окнами. И вот крыса взбежала на крыльцо этого дворца и кинулась в дверь. Это была очень высокая и массивная дверь с резьбой. Но она каким-то образом была приоткрыта, и нам ничего не стоило проскользнуть за тварью внутрь. Там было темно, только луна светила в окна.

Белая крыса кинулась по ступеням на второй этаж. Мы даже не успели толком рассмотреть первый этаж, а она уже кинулась на второй. Мы опять-таки за ней последовали. На втором этаже была анфилада комнат. Крыса побежала из комнаты в комнату, а мы — за ней. Все эти комнаты были пусты, только в некоторых стояли ломберные столики и покойные диваны. Крыса пробежала через все эти комнаты и бросилась на третий этаж. Мы старались не отставать.

На третьем этаже — а это был последний этаж — мы оказались в огромной гостиной. Там

был гигантский стол с остатками пиршества. На белой кружевной скатерти стояли хрустальные графины с винами и наливками, в блюдах лежали окорока и сыры, в серебряных чашах красовались разнообразные фрукты. Тут явно предавались гастрономическим наслаждениям. С потолка свисала грандиозная люстра. На окнах — какие-то невиданные занавески. На стенах висели картины. Нам показалось, что здесь представлены все эпохи и все мастера — от Фра Анжелико до Моранди. В углах стояли рыцарские доспехи в полном снаряжении и в великолепной сохранности. Но, несмотря на всё это изобилие, белая тварь здесь не задержалась. Она проскользнула в следующую комнату. Мы были очень голодны, и нам весьма хотелось приложиться к этим графинам и блюдам, но крыса торопила. И нам не хотелось оставаться здесь без нашего проводника. Поэтому нехотя мы последовали за тварью дальше.

И была там комната, а в комнате стояла большая кровать. И перед этой кроватью белая наша путеводительница остановилась, поднялась на

задние лапки и замерла. Тут мы сообразили, что достигли цели нашего путешествия.

В кровати лежали двое. Во-первых, там лежала молоденькая очаровательная девушка, абсолютно голая и вся покрытая веснушками. У неё были фантастически пышные рыжие локоны, кудри, радовавшие это ложе, как его могли бы порадовать цветы. Вся она была как только что созревший плод — молода, прелестна, не обременена никакими огорчениями. И она спала. Всё в ней было покойно, но от какого-то сновидения чуть-чуть шевелились пальцы ног. Это были такие пальцы, которые возлюбили старые мастера, не устававшие их рисовать у всех мадонн. Эта девушка была тем поразительней, что сочетала в себе эталоны архаической и современной красоты: в ней было всё — в зачатке, в потенциальности, в спящей и покоящейся возможности. И она действительно спала и видела сон. Но тут мы посмотрели на неё внимательнее и увидели: никакая это не девушка, а кукла. Да, да, резиновая кукла, сделанная каким-то японским дизайнером. Не девушка, а болван-

ка, манекен, подделка, кибернетическая дура, пластмассовая блядь.

А во-вторых, рядом с ней лежал мужчина и храпел. И этот мужчина, вернее, старик, был не кто иной, как премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Да, это был он! И он тоже был обнажён, но вовсе не очарователен. Он был гадок, мерзок, гнусен в своей оголённости и со своим разинутым ртом. И белая тварь взбежала по упавшей простыне на кровать и села рядом с Берлускони, как бы указуя нам на него.

Мы сразу же поняли её недвусмысленный жест. Крыса явно хотела этого! И мы произвольно залезли к себе в карман и извлекли оттуда наш складной нож с единственным лезвием. Крыса в восторге забила хвостом. Мы подошли вплотную к кровати и склонились над премьер-министром. Лезвие уже было извлечено из ложа ножа и отсвечивало в лунном свете. Но мы не убили Берлускони.

Что-то нас остановило. Скорее всего, это было отвращение. Отвращение — мощный аффект. Нам стало невыносимо отвратно это голое тело,

так рвавшееся всю жизнь к власти. И, вместо того чтобы ударить это тело ножом, мы испустили на него струю нечаянной рвоты. Это само собой получилось, вне нашего хотения. Нам стало отвратно — и блевотина излилась. Она пала премьеру на грудь, где была ложбинка, и осталась там небольшим зловонным озерцом. Наша блевотина выпала на Берлускони — но он даже не проснулся. Даже не вздрогнул. Он продолжал храпеть.

Крыса посмотрела на нас своими блестящими в темноте глазами. Глаза стали как две крошечные луны. Что там было, в этих крысиных глазах, — одобрение или разочарование? Мы не знаем. Маленькая белая тварь вдруг кинулась под кровать. Будто её что-то напугало. И это резкое движение в свою очередь напугало нас. Мы бегом ринулись из спальни — вниз — на второй, на первый этаж, потом в парк, потом через стену. Залезли на дерево, с него на стену, а уж со стены — в переулок. И опять бегом, как зайцы, в темноту римских камней, акведуков и лун.

42-е откровение: соседи

Почти каждое дерево было обвито сверху донизу диким виноградником. Виноградник же опутывал жёлтую стену дома.

Это мы проснулись во дворе рядом с Villa Farnesina в нашем зелёном спальном мешке, куда могли бы влезть ещё сорок богатырей. Это был очень спокойный двор, но мы в нём оказались самыми тихими и спокойными. Проснувшись, мы моментально погрузились в созерцание виноградника, его сплетений и узловатых узоров. Как в детстве просыпаешься после болезни и открываешь в рисунке занавески гротескные профили и фигурки, которым мог бы позавидовать сам Калло, так и мы увидели в контурах виноградника полицейских, которые пришли арестовывать нас. Нехорошо это было! Нехорошо просыпаться с такими видениями и предчувствиями! Да, в зелёном спальнике могли бы уместиться сорок богатырей, но, к сожалению, их тут не было. Ни одного. Мы дрожали как осиновыe листочки. Почему-то нам показа-

лось, что ещё немного — и весь мир упадёт на нас и придавит. Тоска, тоска, утренняя тоска — почему она настигает? Ответ прост: потому, что плохи соседи.

Вот и сейчас они выставили свои головы из окон и воззрились на нас, будто мы их разбудили. И тут же стали совещаться: то ли вызвать полицию, как это делают в Австрии, то ли набить нам морду, как случается в Англии, то ли вылить на нас помой, как бывало когда-то в Италии, то ли открыть пальбу, как в Либерии. И решили они просто на нас поорать для облегчения, а потом уже видно будет. Правду сказал Гераклит, что худшее на свете — соседи. И Лао-цзы тоже сказал, что селиться людям нужно друг от друга на расстоянии далёкого собачьего лая, не иначе. А ведь как прекрасны были эти деревья, обвитые сверху донизу диким виноградником. Не то, что люди! Ничего нет хуже человека, если он глуп и зол. А сейчас люди как-то особенно глупы и злы, так что даже страшно. О, как это верно: *It is easier to understand the mind of Dante, than that of an ordinary man.*

Лежать в мешке, тихо смотреть на ветки, никому не мешать. Вот, что нам хотелось в то утро. А получились вопли и кошмары, страх и безобразиие.

43-е откровение: критерий

Трудно нам было в Риме. Трудно нам было и вообще на Земле, где индивидуальная жизнь, как навязал её всем Запад, тупа и нечестива, а подлинно коллективная жизнь преследуется как безумие и преступление. А нам всегда была чужда и болезненна индивидуальная жизнь. Только в коммуне возможны самозабвение и бесстрашие.

Но как же, как же без коммуны?

Для того мы и пришли сюда, в этот город, чтобы спросить Агамбена. Но его не было рядом. Да пора бы уже самим отвечать на свои вопросы. Как же найти Агамбена? Как попросить у него ночлега и совета? Трудно.

Наш опыт знакомства с художниками, писателями и музыкантами показал нам, что мы разного поля ягоды. Художники норовят воткнуть нож в спину, а нам веселее плюнуть в лицо. Но и это суета. На самом деле нам всегда хотелось устного народного творчества. То историю рассказать, то дураками подурачиться, то муд-

рость поискать, то песню пропеть, а то и уйти от человечества в далёкие дыры — куда глаза глядят. Никогда мы не преодолели в себе фольклористики. Поэтому так милы нашему сердцу Фредди Перлман и Тиккун, а не Лимонов, не Сорокин, не Боборыкин. Всякая популярность тошнотворна, за исключением Ивана-дурака и трикстера. Но они не популярны, они вне, так сказать, общества. Хайнеру Мюллеру, знаменитому автору, было стыдно, потому что он понимал, что настоящий поэт, как Вийон, не имеет где голову преклонить. Вот критерий! Только в банде воинствующих отщепенцев возможна интенсивность, только так! Нужно же иметь критерий, лимузинчики! Вы критерия, господа, не имеете! Если критерий Ги Дебор и Краван, то как же можно быть современным художником, помпончики? Ну, «Синие носы», это понятно, они — муравьи, и Авдей тоже всего лишь отрывка, ну и все остальные тоже, потому что художник в опасности, а вы — нет. Тут вот критерий в пустыне нащупывается. Человек из подполья ближе к критерию, чем все Гутовы

и Осмоловские. Настасья с её капризом ближе к богам, чем любой Юрий Лейдерман, смышлёныш. Плохо вам без критерия, миловзоры, плохо вам, а нам тошнотворно, на вас смотреть тошнотворно, на вас без критерия.

44-е откровение: щи да каша

И снова мы бродили по Риму: Strangers in a Strange Land. Palazzo Spada, Palazzo Farneze, Palazzo della Sapienza. И было там здание, и перед зданием люди, и люди держали в руках бокалы с вином. Галерея? Ну конечно же, галерея, читатель!

И вошли мы в эту галерею, и толпа сомкнулась вокруг нас как море, но было это не море, а толпа дураков. И говорили они на разных языках, но смысл их речей был один, и в словах их заключался единственный корень: щи. Щи с красной капустой. Щи с белой капустой. Щи со сметаной. Щи с мясом. Щи украинские. Щи немецкие. Щи итальянские. Щи русские. Щи бразильские. Щи, которых поищи. Щи, в которых есть прыщи. Щи с водицею Виши.

И в этой толпе тупиц было одно лицо, которое вдруг нам улыбнулось и сказала: “Ciao!” Мы очень обрадовались, но это оказалась ложная тревога. Просто некий тип, которому нечего было делать. Вот он и здоровался с кем попа-

ло. И заводил разговор с кем попало. Но, на его беду, мы действительно были кто попало.

Вот он нам и говорит:

— Хорошая выставка, правда?

А мы в ответ:

— Говно.

А он нам:

— Говно тоже может стать искусством. Например, у Пьеро Манцони говно — это искусство.

А мы ему:

— Пьеро Манцони сам говно.

А он:

— Ну, если Манцони для вас говно, то кто не говно? Вы, наверное, Микеланджело Пистолетто любите.

Тут мы в смех ударились. И говорим:

— Микеланджело Пистолетто — говно старое и невонючее.

А он, эрудит, нам в ответ:

— Но уж Алигьеро-э-Бозетти не назвать говном никак. Он — художник.

А мы ему в пику:

— Пистолетто — говно с коркой, а Бозетти — говно мягкое, деликатное.

Он даже захихикал, решил, что с недоносками разговаривает.

— Ну, хорошо, — говорит, — ну, а Маурицио Каттелан — говно или нет?

— Как же, — отвечаем, — ещё какое говно. Говно на палочке.

Тут он призадумался и молвит:

— Так вам, видно, всё современное искусство не нравится?

А мы ему с усмешкой:

— Так оно и есть куча говна.

Тут он даже захихикал от восторга. Подумал, что мы полные дебилы и ретрограды и что таких людей уже днём с огнём не сыскать. И в качестве самого главного аргумента с подковыркой говорит:

— Ну а что же тогда, по-вашему, не говно? А?

Тут пришёл наш момент. Мы были наготове, впрочем. И поэтому сразу же и в полном самообладании обосрались себе в руку и протянули

эту руку ему. Там была великолепная куча настоящего свежего говна.

— Вот, — говорим, — вот это не говно.

Но когда он это наше говно в простёртой руке увидел, то так испугался, что прямо-таки заметался на месте, как сукин сын. А мы ему всё показываем говно и показываем. Так что этот наш собеседник моментально начал продираться сквозь толпу в противоположном от нас направлении. И вскоре совсем исчез.

А мы остались стоять с говном в руке в густой вернисажной толпе. И руку чуть опустили.

Только вдруг откуда ни возьмись прямо перед нами появляется громадного роста сеньор в очень приличной и даже несколько щегольской одежде. Прямо перед нами — словно из земли вырос. И говорит:

— Здравствуйте пожалуйста. Я — куратор этой выставки. И про вас я, кажется, кое-что уже слышал. Так давайте же познакомимся по-настоящему.

И с этими словами он протягивает нам свою благородную руку и вроде бы собирается на-

звать своё имя и услышать наше. Но только не получилось, не успел. Потому что мы ему в свой черёд нашу руку для знакомства протягиваем, а в этой руке, как помнит читатель, свежее говнище. И куратор эту нашу руку, ничего не заметив, пожимает.

Однако лишь только состоялось это рукопожатие, лицо нашего куратора приняло тревожное выражение. И взглянул он на свою руку. А на ней — наше говно. Много, много говна. Он так и обмер.

— Что это? — кричит.

А мы говорим:

— Как что? Искусство.

А он рычит в полном смятении:

— Какое искусство? Это — говно.

— Да, — говорим, — но ведь искусство и есть говно. Или говно есть искусство?

Но он от этой диалектики был уже далёк. Он был в диком шоке и на грани чего-то страшного. Нам это страшное, впрочем, созерцать не хотелось, ибо мы не большие любители ужасов. Поэтому мы поспешили прочь. А он, наверное,

поспешил в туалет. Или, может, к карабинерам побежал жаловаться? Или в госпиталь поехал — говно на пробу сдавать?

Не знаем, не видели. У нас уже другие заботы были. Или, точнее, одна забота: утверждение поэтического статуса человека на Земле.

Щи да каша —
Пища наша.
Щи?
А поди-ка поищи
Щи с говном впридачу —
Трудная задача!
Щи с говном прекрасным
Не ищи напрасно
В Риме — центре мира,
Нету тут клистира.
Ну, хватайте ложки,
Мухи — мандавошки!
Будет вам мяско —
Наше говнецо!
Ой, ой, ой, что это за мясо?
Это же понос!

Ой, ой, ой, что тут за колбасы?
Сраку вам под нос.
Аврааму слава!
Иисусу слава!
Магомету слава!
Будде тоже слава!
И какашкам слава!
Кушай их, орава!
Что это за дрянь?
Это наша срань!

45-е откровение: коты

“Benissimo!” — сказали мы. Наше настроение явно улучшилось. После оперирования с говном оно всегда улучшалось. Когда вы покакаете, вам становится легче. Но если вы не просто покакаете, а ещё и сделаете специальный жест с говном, создадите говнистую ситуацию, если вы сможете правильно использовать говно, тогда ваше настроение улучшится вдвойне. Больше, чем вдвойне, — тройне. Так что мы совсем не удивились могучему приливу сил, который вдруг ощутили, выскочив из галереи.

А на той же улице оказалась еще одна галерея. И в ней тоже было открытие. Такая уж у галерей политика — устраивать вернисажи в один и тот же день, чтобы привлечь всех идиотов, заманить всех кретинов, поймать всех дураков.

В этой галерее болванов было не так много, но зато здесь стояли отборные болваны. Это были критики, художники с положением, коллекционеры, любители, знатоки, профессионалы, судаки в сметане. Об этом легко было

догадаться по их виду — стерильному, выхолощенному, ухоженному, противному, высокомерному, уверенному, бессмысленному, отталкивающему всё живое. Эти люди привыкли думать, что они — элита, боссы, тузы, интеллектуалы, наследники, хозяева, преемники, жрецы, толкователи, избранники и эксперты. И они знали, что пришли на правильное, успешное, состоятельное, беспроегрешное, кредитоспособное, обоснованное и умело организованное мероприятие.

Выставка была сфабрикована знаменитым итальянским дельцом от искусства, раздутым ничтожеством, пустышкой из пустышек, липким пачкуном, пронырливым упырём, торговцем, мелким хищником, халтурщиком, вульгарным мозгоёбом, куратором, фальшивящей свистулькой, раздутым гондоном, бездарным критиком, работоторговцем художниками, дешёвым манипулятором, стервятником, недотыкомкой и хапугой по имени Бонито-Олива. Он был одним из самых крупных мертвяков художественной сцены Италии, держателем поганеньких акций.

В выставке участвовали как живые, так и отжившие художники. В целом эта выставка являла собой гнилой пузырь, кузькину мать, дрянцо в яйце, сыроватый товар из смердящего трюма, хворь малолеток и старцев, липучку для мух, мышьяк для дохлых мышей, бром, испорченную сыворотку, сметану с тараканом. Эта выставка была состряпана за пару дней и не могла обмануть даже младенца, который только что открыл глаза на свет божий. Не выставка, а бзда. Но зато все художники были почётными академиками или молодыми славостязателями. Одно из двух. Бзда или мзда.

Было винишко и арахис в кубышке. И была ещё некая сиволапая молодёжь, собранная из Академии художеств, дабы получить из розовых лап Бонито-Олива факел червивого склепа искусств. Такие, как Бонито-Олива, всегда хотят иметь молодёжь под смердящей подмышкой. И молодёжь идёт и стоит в очереди.

Выставка называлась “Excellenza, Excellenza!”.

Мы просто начали гадить, как разбушевавшиеся поганые коты. Это, кстати, интересно,

что в современном искусстве есть всякие амплуа и роли, а вот просто быть по-настоящему поганым котом запрещено. А если будешь, если посмеешь — сразу скалкой по башке дадут или в пыльный мешок упрячут. И всё-таки мы посмели, всё-таки разбушевались подобно истинным помойным котам. Мы таких в самом деле встречали в разных городах и странах. Восхитительные звери, знающие цену имманентности.

Однажды на острове Хвар мы жили в сарае, в окрестностях которого паслись и скитались бездомные маленькие тигры. Эти кошки, почуяв, что мы сродные им твари, повадились к нам в сарай в гости. Мы их привечали и угощали. Был там серый, любящий выгибать спину, был там чёрный с маленьким голосом, был полосатый с глазами опасной нищей бестии. Была ещё и парочка братьев, нежных и наглых, с такими повадками, будто они сто лет прислуживали ведьмам на Лысой горе. Так вот, все эти твари у нас столовались и прохлаждались. Мы им покупали сосиски в лавке, и они эти сосиски в общем одобряли. Но однажды случился бунт.

Дело в том, что мы им не отдавали все сосиски сразу. Считали, что несколько сосисок нужно оставить про запас, на завтра. Кошки это поняли и возмутились. Во время одной из кормёжек они на нас налетели и потребовали все сосиски мигом. Мы не уступали. Тогда они подняли такой бой, рёв и вой, что стало страшно и мутно. Бести прыгали на стол, стулья и на нас тоже. Это был совершенно справедливый и оправданный бунт во имя немедленной и всецелой удовлетворённости страсти. И в самом деле, почему не подарить все сосиски разом, почему только часть? Это — жлобство.

Так вот, возвращаемся к “Excellenza, Excellenza!” Мы начали действовать как островные кошки, друзья и наставники наши. Рвать, орать и порхать. Рвать отношения власти, орать на представителей власти, порхать как бабочки, ничего общего не имеющие с властью. Так действуют недомашние кошки, превосходные мошки и безрассудные крошки. Пошли вы на хуй, Бонито-Олива и Иосиф Бакштейн! Пошли вы в жопу, здравый смысл и приличное поведение!

На хуй Мизиано и весь их клан! Чтоб вы сдохли, дешёвое всепонимание и ежедневный подсчёт околичностей! Сгинь, обыденное человечество! Играй же на разрыв аорты, с кошачьей головой во рту, человек, переставший быть человеком!

Публика тут попросту устранилась. Покинула стены галереи. Снобы вышли наружу, лицемеры прыскали в кулак, тупая молодёжь тарасила zenки, администрация в страхе совещалась. Самого Бонито-Олива здесь не было. Он не пришёл, хотя мы его поминутно вызывали на схватку. Мы орал: «Бонито-Олива, трус и блядь, выходи на бой, мы хотим шутить с тобой!» У нас был настоящий задор, но блядун не появлялся.

Зато вдруг откуда ни возьмись возникла небольшая пухлая пятидесятилетняя женщина с помятым лицом императрицы Екатерины II после случки. И тут же начала на нас давить и нас гнобить.

— Вы что, думаете, что вы такие радикальные? — сказала она.

Мы схватились за животики. Слово «радикальные» всегда поражало нас своей глупостью.

Мы ухохатывались над ней и её постановкой вопроса.

— Никакие вы не радикальные, — продолжала она, — а инфантильные и ищущие внимания. Дешёвого внимания. Как глупые подростки.

Это были обычные обвинения в наш адрес. Тётяшка оказалась воплощением уродливого благомыслия и пошлого наблюдения. В голове у неё гуляли ошпаренные клопы.

— Настоящие радикальные художники сейчас в Китае, — сказала она. — Я недавно была в Шанхае на перформансе. И попала в тюрьму вместе с художником.

Мы всё ещё гоготали, но тут заинтересованно спросили:

— И сколько вы пробыли в тюрьме, мадам?

И она ответила:

— Одну ночь.

Тут мы просто завизжали в чёрном пароксизме неизбывного хохота. Эта бабка даже немного испугалась и отошла в сторону. Мы её не преследовали, а просто плеснули на неё немного белого вина.

Она взглянула на нас, словно развратная аббатиса, готовая применить отравленный кинжал. Да только кишок у неё было маловато, да и мозги у неё зачахли. Кинжал её остался в позапрошлом веке в катакомбах монастыря или борделя.

Мы поглядели ей вслед, и сердце сжалось: какая мелкотравчатость! И что же мы здесь делаем, на что тратим время? И это после Капитолийской волчицы? Как же найти свою жизнь, куда она подевалась? Где наши пути-дороги? Как пройти по ниточке и не свалиться? И как протянуть эту ниточку в небе?

46-е откровение: книга кончается

Книга кончается, читатель, книга кончается.
Туда ей и дорога!

Книга писалась, чтобы с чем-то в жизни расчитаться, чтобы перевернуть страницу. Чтобы приступить к новым вещам и делам. Но получится ли это?

Можно, конечно, вообще не замечать искусство, как не замечали его пролетарии в девятнадцатом столетии, но коли мы его уже заметили, то как с этим обращаться? С искусством, которое превратилось в самоуничтожающееся ничто?

Мы давно уже ходим и ездим по миру, нападаем на разные города. В городах этих стоит страшный и мерзкий шум, имя которому Спектакль. Мы с этим чудищем ведём рукопашный бой. Искусства больше нет, оно сгнуло, ушло под землю, а Спектакль бушует вовсю. Где найти силы для борьбы с ним? Мы их находим в божественных жестах погибших поэтов. Вот жест Мандельштама, давшего пощёчину Алексею Толстому, вот

жест Хлебникова, убежавшего от сволочи в степь. Вот жест Рембо, бросившего стихи на ветер, вот жест Кравана, хохочущего над всеми артистками и их мизерной славой. А вот плебейский и скрежещущий жест панков, а вот безудержный жест автономов. Мы любим этих безымянных поэтов, как мы любим бунт и Вийона. Поэзия уже не в писании стихов, она сейчас только в опасных и режущих жестах. Об этом мы хотели вам сказать на этих смехотворных страницах.

Книга — не аптека, где продаются вата, пенициллин и аспирин. Книга — это скорее бесноватый, входящий в аптеку и воруящий там апельсин. Он хватает этот апельсин по рецепту, прописанному бодлеровским Сатаной, и, не попрощавшись с фармацевтом, идёт уверенно домой. А дома, сидя перед шкафом, он разгрызает апельсин, кривляясь, действуя нахрапом, и апельсин внутри него превращается в керосин. А с керосином можно идти хоть куда, хоть к храму Дианы Эфесской.

Книга писалась не для вечеров литературных завсегдаев. Не для умирания искусства

соглядатаев. Не для тех, кто сидит, усердно хлопая, и не для тех, кто все книги подряд лопают. Для этих мы можем сказать только одно: «Наша мама хочет спать!» То есть: Fuck off!

Книга писалась для тех, с кем можно поговорить. То есть не просто пробубнить свою дрянь, свой монолог, а по-настоящему поговорить и даже что-нибудь сделать вместе. Вместе, но не как волосы в тесте!

Книга писалась просто так, чтобы поднялся ветер — и растрепал её по страницам. Или чтобы кто-то в ярости разорвал её — и страницы полетели, полетели и попали неизвестно кому в руки и чтобы их прочитали. По строчке, понемножку. Чтобы эти слова попали внутрь читателя со свежим воздухом, с ветром, а может, и с воровским туманом. Но это уже большая и необоснованная претензия.

В конце концов, книга — это всего лишь книга, и просто книга. Бывают хорошие и плохие книги, бывают хорошие и плохие читатели. Хорошие читатели валяются в траве и читают хорошие книги. Плохие читатели читают кни-

ги, даже очень хорошие, и всё равно остаются плохими читателями. Тут есть о чём призадуматься.

Но эта книга — не книга, а, как сказал Алексей Кручёных, гнига. Гнига — это такая вещь, которую можно и должно использовать по-всякому. Как капканчик для бродячей глупости, как затравку, как угрозу, как кивок, как плевок, как сачок... Это мы читателю и рекомендуем.

Пока есть в нашей глотке слюна, мы всегда будем её использовать прежде всего для того, чтобы плюнуть на фигуру автора и на закрытость произведения. Тьфу!

Наш метод в этой гниге был наипростейший: мы показывали читателю то, что мы любим. И в этом свете всё остальное должно стать очевидным.

Что же касается аптек и сумасшедших, то вот вам под конец ещё одно замечательное стихотворение многомудрого автора, которого мы никогда не уставали цитировать в этой гниге:

Стоят в аптеке два шара:
Оранжевый и синий.
Стоит на улице жара,
И люди в парусине.

Вхожу в аптеку и шары,
Конечно, разбиваю,
В участке нет такой жары,
А цвет сейчас узнаю.

Горит оранжевый рассвет
На синей пелерине.
Отлично выспался поэт
На каменной перине.

Это, кстати, будет уже самое последнее стихотворение в этой гниге. Вернее, было.

47-е и последнее откровение: dio!

На следующее утро мы проснулись с мучительной, прямо-таки сверлящей болью: а как же это мы не встретили философа Агамбена? Почему? Он бы мог нам помочь, дать денег, сказать самое важное, пригласить в гости...

Но потом пришла мысль: философия — это не мудрость, но любовь к мудрости. А мы истосковались по мудрости. Тут — разница. Хотя типологически мудрость и любовь к мудрости находятся в одном ряду.

После этого маленького наблюдения над мудростью и любовью к мудрости наша боль стала чуть-чуть более переносимой. Но не до конца, отнюдь. Поэтому нам пришлось вылезти из нашего спального зелёного мешка и отправиться на поиски аптеки. Впрочем, аптек в Риме, как и повсюду, хватает с избытком. Люди в наше время обречены неистово лечиться от убожества своей жизни. Только где же сыскать правильное лекарство?

Мы зашли в одну из этих аптек и купили себе аспирин. Или что-то вроде аспирина, но с

каким-то замысловатым названием. Аптекарьша была столь любезна, что дала нам пластиковый стакан с водой. Мол, пейте свой аспирин на здоровье!

После аспирина мы купили панини и стали шляться по улицам. Здесь, как всегда днём, шаталось много людей, красивых и не очень, старых и молодых, с детишками и без, в модных одеждах и в безнадёжном тряпье. Лица у одних были вроде весёлые, у других как будто унылые, но на всех без исключения была написана равными линиями одна забота, один лозунг, одно вопрошание: *“There must be more money! There must be more money!”* Этот вопль, конечно, не срывался с их уст, не потрясал римские переулки, тем не менее безмолвно висел над всеми головами — лысыми и кучерявыми, причёсанными и взъерошенными, покрытыми и обнажёнными: *“There must be more money! There must be more money!”* Именно так, курсивом, и на английском языке. Этот вопль висел над Римом, как пузыри с речами персонажей висят в комиксах. *“There must be more money!”* Этот крик, стон,

хрип был таким всеобщим, что отдавался утром и в нашей больной голове, как мы этому ни сопротивлялись. И никакой аспирин тут не мог помочь. *“There must be more money! There must be more money!”*

Не только головы людей, но и все автомобили в городе, все мотоциклы, автобусы, все дома, палаццо, рестораны, книжные магазины, лавки, супермаркеты, институции, банки, агентства недвижимости, академии, пекарни, забегаловки, рынки, подворотни и киоски тоже были полны значением, шумом и отзвуком этой одной упрямой и всепоглощающей фразы: *“There must be more money! There must be more money!”*

То же самое касалось и каменных набережных, мостовых и асфальтовых покрытий Вечного города: *“There must be more money!”* Да, да, только одно вопрошание и одно утверждение.

Хуже всего, однако, было то, что и римские дети, самые маленькие его обитатели, тоже должны были постоянно слышать, ощущать и осознать это сакраментальное восклицание, висящее в воздухе: *“There must be more money!”*

Они это и слышали на самом деле, и об этом легко было догадаться, заглянув им в глаза. Дети слышали это безмолвное возглашение дома и в школе, перед телевизором и за компьютером, с друзьями и в семейном кругу. “*There must be more money!*” проникало через самые толстые стены сиротских домов и даже учреждений для так называемых неполноценных детей. И даже те из них, кто не говорил по-английски, прекрасно ощущали своими инстинктами этот слоган. Только пара-тройка непослушных детишек, может быть, была защищена от могущественной радиации этих слов. Ведь исключения, к счастью, всегда бывают: шалуны, двоечники, озорники... Саботёры, дезертиры... Партизаны... Нарушители... Невидимки...

Громче же всего голос “*There must be more money!*” раздавался в домах обычных семей. И здесь, в этих многоэтажных римских домах, дети слышали голос ежечасно. И когда дети слышали этот голос, они переставали играть. Они просто смотрели тогда на свои игрушки. И в глазах этих игрушек они слышали опять

этот голос. И сами игрушки тоже его слышали и повторяли. Большая дешёвая пластиковая кукла с белыми волосами, сидящая на кровати, слышала этот голос, этот шум внутри самой себя. И глупый плюшевый щенок выглядел ещё более глупо, совсем по-дурацки, именно потому, что в его ушах постоянно гремел и перекатывался этот голос: *“There must be more money!”*

А с другой стороны, почти никто и никогда не произносил эти слова вслух. Пузыри с пресловутой фразой висели над всеми, но сказать это ясно и отдельно отваживались единицы. Ведь почти никто не говорит «Мы дышим!», хотя в действительности дышат все, постоянно, непрерывно дышат.

Кто был застрахован от этой фразочки, так это кошки. Кошек в Риме не так много, как в Стамбуле, Тель-Авиве или Лондоне, но они есть. Бродят по улицам, сидят на ступеньках, нюхают бензин. И они как будто бы плевать хотели на это *“There must be more money!”*. Мы говорим, конечно, о бродячих кошках. Или тех, которые, выскочив из дома, тут же этот дом презирают.

Таким кошкам начихать на *money*. Они на людей смотрят не персонально, не вычисляя, насколько эти люди богаты. Они смотрят в маленькую точку где-то в середине человека. И этого им довольно. В этой точке находится самый главный бульон.

Точно так же и цветы. Цветы посадили в городе, конечно же, под лозунгом “*There must be more money!*”. Но цветам на это насрать, они этим не интересуются.

Поэтому в то утро мы, чтобы противостоять вездесущей фразочке, решили быть как кошки и цветы. Для этого необходимо усилие. Мы постарались это усилие совершить.

Почему так мало стало застенчивых людей в мире? Почему все вокруг деловые?

Застенчивость, застенчивость — самое любимое, самое пыльное, самое деликатное, самое драгоценное, самое непредсказуемое, самое самоценное, что есть, что осталось, что исчезает уже на глазах. Застенчивость — могущественная сокрытость жизни, которая хочет жить своей жизнью и отвергает то, что навязывает жизни власть.

Мы твёрдо знали всегда, что из застенчивости рождаются самые бескорыстные, бесшабашные, весёлые, дикие, выламывающиеся из всего поступки, выходки, прыжки. Застенчивость толкнула Иисуса прогнать торгующих из храма, — застенчивость, перешедшая в ясность, и ясность, перешедшая в гнев. Застенчивость — стыдливость перед мурлом фальши, стыдливость, переходящая в возмущение, и возмущение, переходящее в неповиновение. Метаморфозы застенчивости божественны и смехотворны. Застенчивость рождает истинное цветение чувств. Застенчивость — первый шаг к мысли. Застенчивость — основа независимости и самостояния. Застенчивость — открытость таинству существования. Не покидай, застенчивость, эту планету, пожалуйста, не покидай. Рыцари застенчивости — Дон Кихот, Мышкин, Дэвид, Оливер, Коленька, не выпускайте оружия из своих рук...

В этих смутных и тревожных раздумьях о застенчивости мы продвигались по городу. Где-то на *via Alessio*... А потом вдруг мы оказались на *Cimitero Protestante*... Это было большое клад-

бище. И там возле фонтанчика сидел на корточках худой парень лет двадцати. У него в руке была горсть игральных костей. Он показал на них кивком и сказал:

— В косточки умеете?

— Умеем.

— Сыграем?

Мы кивнули: да.

— Будем играть на перемену судьбы, — сказал он. — Если я выиграю — у меня ваша судьба. А если вы выиграете — то у вас ваша судьба.

Мы задумались. Потом спросили:

— Так какой же у нас выигрыш?

— Когда выиграете, узнаете, — сказал он и засмеялся.

Мы всё-таки решили сыграть. Всегда лучше сыграть, чем воздержаться. Было у нас такое правило.

— Ну, играем? — подбодрил он.

— Играем.

— Смотрите, не проиграйте... — осклабясь, сказал парень и ловко подбросил россыпь косточек.

Он играл хорошо. Косточки взлетали кверху и чётко стучались в подставленную пригоршней ладонь. А мы присматривались к нему: чёрные впалые глаза без блеска, бледная тонкая кожа. А когда он взглядывал вверх, подбрасывая кости, на горле его обозначался ужасный розовый шрам.

Через минут пятнадцать мы были на пятнадцать очков впереди. А через двадцать минут на двадцать очков позади.

— Играем ещё три кона, — сказал парень. Он защёлкал косточками, они у него были между ладонями. Бух! — и подкинул в воздух. И поймал — тоже сразу на обе ладони. Нам стало страшно.

— Играйте скорее! — поторопил он. — Скоро кладбище закрывается.

Мы сыграли наш заход.

Когда он подбросил кости в следующий раз, мы увидели, что шрам на его горле совсем свежий и на нём даже есть запёкшаяся кровь. Как же это возможно?

— Играйте, играйте! — прикрикнул парень. — Времени нету.

По нашей спине уже тёк липкий пот. Мы сделали последний заход и выиграли. Мы были впереди на четыре очка. Bravo!

Наш соперник нагнулся к костям, странно усмехнулся и произнёс:

— Ы-ы-ы...

— А я думал, выиграю, — сказал он уже страдальчески и сунул костяшки прямо за пазуху. Тут же соскочил со своего места и, не попрощавшись, побежал прочь. И вскоре исчез.

Мы напились воды из фонтанчика. Посмотрели на могилы и сказали:

— Так что же мы выиграли?

Но тут уже стал свистеть кладбищенский сторож: *Cimitero Protestante* закрывалось на ночь.

Мы снова очутились в городе.

Через час мы были на *via della Lungara* в Трастевере. Нам нравилась эта старинная улица с глухой каменной стеной, за которой была дорога — и Тибр.

Мы прошли по *via della Lungara* туда-сюда. Выпили кофе на углу. Снова прошли по *via della Lungara*. Завернули в каменный переулок. Там

перед низким зданием стояла толпа. Опять галерея! Мы пошли туда. Было уже темно. Вспыхивали звёзды.

Это была не галерея, а *fondazione*, то есть тоже культурное заведение. И в этом *fondazione* в этот вечер проходило открытие выставки израильского художника по имени Нахум Тевет. Мы о Нахуме Тевете до сих пор ничего не слышали. А тут вот его выставка! В *fondazione*.

Мы зашли внутрь и посмотрели на работы. Это были минималистские штуки, вроде рамок, арочек, полочек, сделанные из разных материалов. Нас эти вещи не затронули. И мы снова вышли наружу.

И тут мы обнаружили, что прямо напротив выставочного павильона *fondazione* есть маленький уютный дворик. И дворик этот оказался тоже частью *fondazione*. Там стояли накрытые столы, а на столах — бутылки и закуски. В бутылках было красное вино, а закуски выглядели довольно разнообразно: сухарики, сушечки, хлебные палочки, ветчина, сыр, сушёные помидорчики, орешки и крошечные солёные огурчи-

ки. Мы были голодны, как волки, как пираньи, как сфинксы. Чем питаются сфинксы? Может быть, как раз солёными огурчиками и сушёными помидорами. Мы на эти кушанья воззрились с великим вождением.

Но люди ещё не начали есть и пить. Людей было ещё сравнительно мало. Пришлось нам немного подождать. Надо сказать, что в этот вечер мы чувствовали себя очень и очень утомлёнными. Мы устали и истаскались. Нам очень хотелось принять душ. Мы воняли. Нам мерещилось, что жизнь наша кончается. И, как уже было сказано, мы зверски проголодались.

Наконец перед закусочными столами возник молодой высокий негр, который стал разливать по стаканчикам вино. Тут же сюда хлынула толпа людей и создалась очередь. Мы выстояли очередь и начали пить и есть. Мы старались выпить и съесть как можно больше. А толпа во дворике всё увеличивалась. Нас это беспокоило. А вдруг еда кончится?

В эту ночь мы были в таком настроении, что нам не хотелось никаких выходов, набегов

и приключений. Нам нужна была передышка, цезура, пауза, чтобы собраться с силами, подумать о новых возможностях, взвесить багаж, обмозговать идеи. Мы хотели просто поесть, посмотреть на людей, может, с кем-нибудь познакомиться. И никаких эксцессов.

И действительно, выпив несколько стаканчиков вина, мы подошли к юноше и девушке, которые нам почему-то понравились. Было в них какое-то осмысленное выражение, какая-то оживлённость, что-то весёлое, юное, располагающее. Если уж с кем-то знакомиться, то с самыми молодыми, пока их не совсем замордовали.

И вот мы с ними заговорили — о философии. Мы прямо сказали, что современным искусством не интересуемся и даже презираем армию современных художников, как когда-то Осип Мандельштам презирал армию поэтов. Но в философии что-то происходит, есть столкновения, есть напряжение, и надо об этом думать. И мы стали говорить о Бадью, Рансье, Слотердайке и, конечно, об Агамбене. И мы сра-

зу сказали, что по-настоящему любим только Агамбена, исключительно Агамбена, навсегда Агамбена.

И вдруг выяснилось, что юноша, с которым мы разговариваем, является аспирантом Джорджио Агамбена. Так он нам прямо и сказал. Мы не могли поверить своему счастью. Мы посмотрели на него внимательно, ища следы влияния философа, ища отпечаток, который Агамбен оставил на челе своего ученика. Но никакого явного отпечатка мы не обнаружили.

— Так вы часто встречаетесь с Агамбеном?! — вскричали мы.

— Встречаюсь, — уклончиво ответил он.

— И вы считаете, что Агамбен — революционный философ? — с восторгом спросили мы.

— Революционный? — недоумённо переспросил он. — Революционный? Нет, я так не считаю. Отнюдь.

— Как же нет?! — воскликнули мы. — Конечно же, да! Или, может быть, слово «революционный» не совсем верное. Надо сказать — мессианский философ.

Он посмотрел на нас с выражением тупого недоумения.

— Агамбен никогда со мной не говорит о революции или мессии, — сказал он.

— А о кайросе? — вскричали мы. — Об имманентности! Это же всё относится к мессианскому времени, к мировому шабату, к освобождению!

Аспирант глядел на нас с неприветливой недоверчивостью.

— Нет, — сказал он. — Агамбен говорит со мной только о моей диссертации. Он очень академический и... спокойный человек.

Тут уж мы на него посмотрели с недоверчивостью. Мы подумали, что он ничего не понял в Агамбене. Он сам был «академический» и чересчур «спокойный», этот аспирант. Нам стало скучно и грустно. Мы отошли от них.

Наше настроение резко изменилось. От вина и имени Агамбена оно резко подпрыгнуло вверх, а теперь со всего размаха низринулось с небес и шлёпнулось на камни переулка. Мы поняли, что здесь некому руку подать, не с кем словом перемолвиться. Пусто нам сделалось, гулко и пусто.

Между тем публики стало невпроворот. Вся эта *fondazione* заполнилась любителями прекрасного. В переулке, во дворике, в выставочном пространстве галдели, пили, жевали, трепались, ворочались, трепыхались и тусовались глупые и обыденные, как нам виделось, люди. Мы почувствовали себя страшно одиноко.

И тут к нам подошёл пожилой человек с опытной и дисциплинированной внешностью.

— Здравствуйте, — сказал он по-английски.

— Здравствуйте, — ответили мы.

— А вы чьи? — задал он обычный вопрос.

— Да ничьи, — сказали мы, нагляя.

— А я Нахум Тевет, — представился он.

— Художник?

— Да, это моя выставка.

— Ах вот как! — вскричали мы.

— Да, — сказал он. — А я вас знаю.

— Как так? — поразились мы. — Не может быть!

— Почему же не может, — резонно заметил Нахум Тевет.

— А вдруг вы ошибаетесь?

— Нет, — уверенно сказал он. — Только я вас об одном попрошу...

Мы уставились на него, ожидая, что дальше будет.

— Я вас об одном попрошу, — продолжил художник. — Не устраивайте ничего на моей выставке.

— Чего не устраивать? — прикинулись мы дурачками-простачками.

— Ничего не устраивайте, пожалуйста, — примирительно улыбнулся он. — Никаких скандалов. И особенно не разрушайте моих произведений...

Тут мы в самом деле удивились.

— Разрушать ваши произведения? — перебили мы его. — Да с какой же стати! У нас и в мыслях этого не было!

Это была чистая правда.

— Мы сюда только покушать пришли! — чистосердечно признались мы.

— А-а! — воскликнул облегчённо Нахум Тетет. — Ну это конечно! Это сколько угодно! Хотите, я вам сам чего-нибудь принесу?

Но мы вежливо отказались. И через минуту-другую израильский художник нас покинул. На него в этот вечер был спрос.

Мы стояли несколько оглушённые и потягивали винцо. Честно говоря, нам хотелось отсюда смыться. Какое-то неприятное, грязноватое ощущение овладело нами. Только бы отсюда уйти!

И вдруг возникло видение. Впрочем, почему видение? Это была реальность. В переулок, набитый художественным сбродом, въехал белый лимузин. Он продвигался медленно-медленно, как осторожная, мудрая черепаха. Медленно-медленно, плавно-плавно. И вот он остановился в двух шагах от нас. Задняя дверь распахнулась — и из неё вылезли двое. Сначала женщина, потом мужичок.

В женщине мы тут же признали ту самую даму, которая в Шанхае провела ночь в полицейском участке. Ту самую, на которую мы на выставке “Excellenza, Excellenza!” плеснули немало белого вина. Это была она, старая жаба.

А мужичок был Ахилле Бонито-Олива, куратор “Excellenza!” и великий поганый босс бедно-

го итальянского искусства. Да, это был он, мы его опознали. Видели эту рожу в журналах.

Но что было самое поразительное, самое сногшибательное, это то, что, кажется, он тоже нас опознал. Нас, кроликов. И теперь он, как толстенький, старенький, но по-прежнему страшно прожорливый питон, медленно полз в нашу сторону. Полз-полз — и замер. И уставился на нас.

Но мы бывалые зайцы. Мы просто его проигнорировали. Даже не взглянули. Даже глазами не стрельнули на него в ответ на его гипнотизирующие взгляды. Пошёл он в сраку!

Шанхайская пострадавшая приникла к уху Бонита-Олива и — бла-бла-бла — сладострастно зашептала в него какую-то похабень. А он всё сверлил нас своими зенками. Но нам, повторям, было просто гадко и скучно. Мы не реагировали.

Бонито-Олива медленно отвернулся и нехотя пошёл осматривать минималистские изделия Нахума Тевета. Шанхайка — за ним. Мы остались с толпой дураков.

И тут внутри нас что-то щёлкнуло. Какой-то щелкунчик. Мы заклацали зубами. Мускулы на нашей жопе подтянулись. Через нас прошёл электромагнитный заряд, и возникло игривое, почти неистовое настроение. Нам захотелось играть!

И с мощным, переливчатым воинственным воплем мы впрыгнули в середину переулка. Толпа в мгновение ока раздалась. Мы оказались в центре бурлящего круга. Люди вперили в нас свои очи и ждали.

И мы выдали им русские сезоны в Риме. За один вечер — все сезоны сразу. Мы воплотились вмиг в Нижинского, Карсавину и всю дягилевскую труппу разом. И не только дягилевскую, и не только русскую. Древняя, хтоническая, подземная, пляшущая, топочущая сила овладела нашими членами. Мы ударились в судороги. Мы въехали в пляску! Топочущий танец Того, Африка в мозгу! Джига, джига! Абреки! Столетние дубы и чинары! Brenta рыжая речонка! Мы — танцевали.

— Эх-эх! — крикнули мы. — Эх-эх!

Мы срывали никчемную одежду. Дух захватывало нам. И стучал в ушах тамтам. Бам-бам-бам-бам!!

— Bravo! Bravo! — это нам крикнули кентавры.

— Bravo! Bravo! — это нам повторяли мавры.

Жизнь — это интенсивность, братцы. Нарушенный контакт интенсивностей — смерть. Она бывает и при жизни. Она бывает каждый день. Пляска — противоядие, правильная дозировка яда. Не ошибитесь, дети!

Ликованию нашему не было предела. Мы приседали, хлопали себя по ляжкам, взвизгивали и гримасничали. Мы издавали гортанные звуки, сливавшиеся в непрерывный залиvistый вой, и по чёрному переулку покотился смех человека, превращающегося в бестию.

Но тут мы встали и закричали на человеческом языке:

— Говорил ли вам Заратустра, что Бог — умер?! Почему же вы, дураки, его не слушали?! Почему вы никогда не слушаете ваших проро-

ков?! Почему вы никогда не слушаете ваших мудрецов?! Почему вы никогда не слушаете подлинных, великих дураков?! Почему вы не слушаете, когда вам говорят, что пришёл мессия? Почему вы не слушаете, когда Агамбен вам сказал, что наступил мировой шабат?! Почему вы молитесь мёртвым богам и едите вашу трапезу с трупами?! Почему, почему, почему?!!

И тут нас обуяла неопиcуемая ярость, бессилие, опустошение, хворь. И мы обосрались.

Это было обильное, изобильное говно. И мы этим говном написали громадными буквами на большой стеклянной витрине *fondazione* только одно слово:

DIO

Огромное говняное слово с подтёками: DIO. Это значит — Бог.

Мы это слово начертали на стекле, и силы почти покинули нас. Мы стояли посреди толпы со спущенными штанами, в совершенно расхристанном виде. Толпа глазела во все глаза и почти не шевелилась. И вдруг... Вдруг холодная неприятная будоражащая жидкость пала на

наши гениталии. Что это было? Нам хватило одного быстрого взгляда, чтобы понять: это шанхайская сука плеснула на нас вино. Это была её мелкая месть. Да. Мы плеснули на неё вино на “Excellenza!”. Теперь она плеснула вино на ниши голые гениталии на выставке Нахума Тевета.

Мы вздрогнули от этого вина, от его мокрого холодного прикосновения. Вздрогнуло всё внутри нас. Но тут же, мгновенно, последовала и наша непроизвольная реакция: рукой, густо измазанной в говне, мы хлестнули шанхайку по щеке. Инстинктивная реакция. Как у кошки. Раз — и всё. Кончено.

Но это был ещё не совсем конец. Потому что толпа пожелала нас бить. Как же — такая наглость. Обосрались, написали говном “DIO”, да теперь ещё дали говном пощёчину женщине. Что тут ещё делать — надо их бить! И толпа приступила к исполнению этого намерения. Дала нам по морде. Толкнула нас. Пнула нас, так что мы повалились наземь. Впереди всех неслась шанхайка с говнистой щекой и что-то верещала. Но мы не слушали. Надо было драпать.

Мы вскочили с камней мостовой. Толпа наседала, орала, впивалась. Но после нашего падения возникла короткая пауза. Они дали нам подняться. И они не совсем сомкнулись над нами. Там был маленький просвет, маленькая щель, куда мы и кинулись. Стремглав, со всех ног побежали. Выскочили на *via della Lungara*. Побежали, побежали, побежали, не оглядываясь, в темноте, стучаясь о каменные стены. И убежали, и скрылись. Отдышались уже по ту сторону Тибра. За нами никто не гнался. Только ветерок.

Но это уже был настоящий конец. Мы это сразу поняли. Конец нашего римского приключения. Конец этапа большого пути. Ха! Как это мы дали ей по морде? Какой глупый рефлекс! Как трудно идти по ниточке в высоте, не оступившись! Тяжело ты, дело профанации! Но нечего пугаться. Нечего уставать. Ни в коем случае не разочаровываться.

Собраться с силами. Подумать. Найти новые ходы. Продолжить свою линию бегства. Не уставать, быть настойчивыми. Атаковать Спек-

такль. Вступать в рукопашный бой со всеми диспозитивами. Искать новые лазейки.

А пока довольно. С Римом — пока хватит. На этот момент хватит.

BASTA!

оглавление

1-е откровение: Жижек	7
2-е откровение: поезд	12
3-е откровение: цыганки	15
4-е откровение: мигрень	17
5-е откровение: завтрак	20
6-е откровение: Рим	22
7-е откровение: линия бегства	26
8-е откровение: квартира	29
9-е откровение: слава.	31
10-е откровение: кафе.	33
11-е откровение: концерт	35
12-е откровение: мы и они	42
13-е откровение: MACRO	44
14-е откровение: против халтуры	49
15-е откровение: экскременты	52
16-е откровение: великий художник	55
17-е откровение: в Колизее	61
18-е откровение: созерцание	64
19-е откровение: Рим ночью	68

20-е откровение: жизнь	72
21-е откровение: ритуал	77
22-е откровение: рекорд нежности	81
23-е откровение: птицы	85
24-е откровение: встреча	89
25-е откровение: дружба	95
26-е откровение: волчица	104
27-е откровение: пантеоны	110
28-е откровение: акация	115
29-е откровение: банкет	118
30-е откровение: Серджио	125
31-е откровение: портреты	133
32-е откровение: мама Серджио	135
33-е откровение: детки	140
34-е откровение: Алессандра	144
35-е откровение: Нижинский	158
36-е откровение: Бальтазаро	160
37-е откровение: бегство	164
38-е откровение: казино	169
39-е откровение: купе	178
40-е откровение: крыса	190

41-е откровение: палаццо	195
42-е откровение: соседи	202
43-е откровение: критерий	205
44-е откровение: ци да каша	208
45-е откровение: коты	215
46-е откровение: книга кончается	223
47-е и последнее откровение: DIO!	228

*Александр Бренер
Варвара Паника*

РИМСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ

*Набор Александра Умняшова
Верстка Сергея Введенского
Корректор Елена Салтыкова*

Книгоиздательство и магазин “Гилея”
Москва, Тверской бульвар, 9
тел. (495) 925-81-66
www.gileia.org
info@gileia.org

Отпечатано в ППП “Типография “Наука”
121099 Москва, Шубинский пер., 6
Заказ №